

Рустем САБИРОВ

ВЕРЕТЕНО



Рустем Сабиров
Веретено (сборник)

«Татарское книжное издательство»

2016

УДК 821.512.145-3
ББК 84(2Рос=Рус)-4

Сабиров Р. Р.

Веретено (сборник) / Р. Р. Сабиров — «Татарское книжное издательство», 2016

ISBN 978-5-298-03233-9

В книге казанского прозаика и поэта Рустема Сабирова естественным образом переплетаются повседневное и фантастическое. Элементы фантастического триллера соседствуют с реалиями трагикомедии и бытового фарса. И в этом противоречивом мире живут, любят, страдают и творят герои новелл и рассказов, и судьбы их сплетены, как нити в веретене...

УДК 821.512.145-3
ББК 84(2Рос=Рус)-4

ISBN 978-5-298-03233-9

© Сабиров Р. Р., 2016
© Татарское книжное издательство, 2016

Содержание

Из книги «Гравёр»	6
Гравёр	6
Жажда Ремесла	11
Констанс	11
Септа	13
Безумец	16
Художник	21
Возвращение	27
Дороти	30
Чоло	34
Эпилог	36
Агасфер	38
Пилар	39
Фабио	44
Каносо	46
Агасфер	48
Рассказ бывшего матроса Эухенио Эррера	52
Бездна	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Рустем Сабиров

Веретено

© Татарское книжное издательство, 2016

© Сабиров Р. Р., 2016

Из книги «Гравёр»

Гравёр

*...Когда-нибудь всё же найти и прочесть,
Всю горькую жизнь свою скомкав,
Собрать воедино сумбурицу взвесь
Развеянных в небе осколков.*

Персиваль Ллойд Вернон

У него никогда не было родителей. То есть были, конечно, те, кто причастны к его рождению, но ежели от матери и остался какой-то радужный, мягкий контур или дуновение, то отец был вовсе неразличим в беспросветной толще времени. Его выходили и вырастили две незамужние тётки. Агата, худощавая и плоская с бледным, испещрённым родинками лицом, и Марта, круглоглазая краснолицая толстуха с визгливым голосом и гусиной походкой. Пожалуй, они любили его, но ждали и требовали за свою любовь и попечение такой неистовой и всечасной благодарности, что любовь эта превращалась в несносное ярмо.

Когда ему исполнилось четырнадцать лет, сёстры решили, что он уже вполне готов к самостоятельной жизни. Поначалу он прислуживал торговцу сладостями. Однако на третий день тот за опоздание вlepил ему затрещину, от которой он едва не оглох, а ещё через день избил палкой до крови и синяков.

Он был чёрен, тощ, низкоросл, но жилист, силен и строптив. С годами угрюмая покорность сменялась дерзостью и ожесточением.

Как-то соседка пристроила его помощником к своему мужу, плотнику. Дядюшка Бенедикт был незлобив, словоохотлив и жалостлив. Ему приглянулся проворный, сметливый и неприхотливый ученик. Он даже начал было приплачивать ему втайне от других. Тайна, однако, просуществовала недолго, и вскорости к нему подошёл старший из подмастерьев по кличке Макрель, рыжий, рябой парень со стоячими болотными глазами, и коротко потребовал делёжки, уверенно выставив заскорузлую четырёхпалую ладонь. Он отказался, а когда Макрель затеял драку, в кровь расквасил ему лицо и сломал челюсть на глазах у его свиты. Тогда его, щуплого, но остервенелого волчонка, никто тронуть не посмел, но на другой день кто-то толчком в спину сбросил его со стропил. Высота была изрядной, но он отделался сравнительно легко: сломал щиколотку и изуродовал лицо, упав ничком на щебёнку. Он чудом не лишился глаза, до кости содрав мясо на левой щеке под нижним веком.

Месяц заживала нога, месяц сидел он дома почти впроголодь, осыпaeмый погрёками и проклятьями. За этот месяц твёрдо уяснил: он оставит этот дом – скоро и без сожаления.

Вероятно, в какой-то момент сёстры это поняли и внутренне встревожились. Кормёжка стала чуть обильней. Они даже упомянули его мать, причём не драной вертихвосткой, как ранее, а назвали по имени – Агнесса. Сказали, что была она прачкой, а померла оттого, что застудила почки, полоща бельё в ледяной воде.

Однажды тётушка Агата привела в дом старика. Был он худощав и прям, как палка, да и голова его, седая, носатая, напоминала костяной набалдашник трости. Он оглядел его с ног до головы мгновенным пронизывающим взглядом. Узкий бескровный рот его насмешливо скривился.

– Ну. И что умеет этот зверёныш?

– Да пока мало что, – притворно вздохнула тётушка Агата. – Но даст бог, что и получится.
– Вот когда Бог даст, тогда и поговорим, – а я, матушка, не Бог, а маленький человек, причём занятой, чтоб вы себе знали.

– А он, – тётушка Марта вдруг глянула на него с едва скрытым раздражением, – а он умеет... Вот, к примеру, может запросто начертить прямую линию! Представляете?! Вот взять и начертить. Будто по линейке, не отличишь... Да не стой же, чёртов хорёк, как вкопанный, покажи дяде Норману, как ты это умеешь!

– Вы ведь не полагаете, почтенная госпожа Марта, что бойко выводить прямые линии достаточно для того, чтобы стать гравёром? – старик Норман затрясся от беззвучного, сипловатого смеха.

– Нет, но...

– И что гравёром может стать тот, из которого не вышел ни плотник, ни кондитер, ни шарманщик, ни даже уличный шалопай?

– Я, господин Норман, полагаю...

– Оторвать меня от дела, чтобы показать угрюмого бездельника с подбитым глазом, только потому, что этот зверёныш кем-то вам приходится! Знаете, при всём моём к вам расположении... Ишь уставился, бесовская порода! Злобы-то сколько!

На самом деле не испытывал он к старику Норману никакой злобы. Не испытывал ничего, кроме безумной, заполонившей прочий мир надежды непонятно на что. Короткое, рубленое слово «Гравёр» уже вовсю рокотало в нём, как бравурный марш. Краткий и звонкий, как удар резца, путь к избавлению.

– Я смогу! – выкрикнул он к всеобщему удивлению.

Он выкрикнул это так, что стоявшая за спиной тётушка Агата испуганно ойкнула и прикрыла рот сухой ладонью.

И тогда господин Норман вытащил из кожаной сумки завернутую в холстину вощёную дощечку и, криво усмехаясь, вывел коротким, молниеносным росчерком заострённой бронзовой палочкой два слова: «DEI GRATIA»¹. Вывел прихотливо, со спиралевидными завитушками.

– А вот теперь, любезный лоботряс, сделай точно так же. Ну хотя бы примерно. Если ты и этого не сможешь, то тебе придётся заплатить мне за потерянное время и испорченный аппетит. В это время я как раз ужинаю и пью свой аперитив. Ну так как, начертатель прямых линий?

Говорил он злым скрипучим голосом, но в презрительно сузившихся глазах тускло посверкивали искорки смеха.

– Я смогу, господин Норман, – повторил он, насупившись.

– И сколько тебе понадобится для этого? День? Неделя?

– Я, господин Норман, сделаю это сейчас. Прямо сейчас!

И тогда он, не ощущая ничего, кроме злобной решимости, едва ли не вырвав из рук у старика Нормана палочку, склонился над дощечкой, то ли как над возлюбленным дитём, то ли как над исчадием ада. «Будь что будет!» – орал его воспалённый мозг, его взмокшие пальцы, орало всё его нутро...

Надпись он вывел, пожалуй, так же быстро, как и мастер, однако тотчас закрыл глаза, дабы не видеть очевидного уродства начертанного. Тётушка Агата стояла за его спиной и шумно дышала ему в ухо.

Старик Норман, как и следовало ожидать, глумливо расхохотался. Обратной стороной палочки, сплюсненной в лопатку, смазал написанное, бросил всё это в сумку и, не прощаясь, двинулся к двери.

¹ Милостью Божьей (*лат.*).

Удар был слишком тяжёлый и безжалостен, чтобы проливать слёзы. Рушился мир, который так и не успел родиться, и разрушил его, походя, старик в грубом стёганом плаще. И он всё шагал, этот окаянный старик, громыхал каблуками и буковой тростью, словно вколачивая в крышку последние, безжалостные гвозди...

– Чтоб ты сдох, старый дундук, – громко выдохнул он к смертельному ужасу обеих тёток.

Старик Норман остановился у порога, повернулся и, смерив его брезгливо-непонимающим взглядом, произнёс:

– Как?! Ты ещё здесь, чёртов молокосос? Нет, вы полюбуйтесь: я должен стоять, терять своё драгоценное время и ждать, пока этот угрюмый бездельник соберёт свои манатки?

– Мне... Мне идти с вами? – шёпотом выдохнул он, и ему показалось, он оглох от собственного шёпота.

– Да, поганец, да! – заорал старик так, что тётка Марта трижды перекрестилась. – И не задавай мне более вопросов, пока я не проломил твою волчью башку.

Отошедшие от столбняка тётушки принялись с ликующим визгом собирать его вещи, надарив на радостях всяческого чужого и в основном никуда не пригодного барахла.

* * *

Старик Норман жил в большом доме, возле скобяной лавки. Жил с дочерью Присциллой, двадцатилетней вдовой, и огромной лохматой собакой Каппой. Зять старика Нормана отправился на заработки в Гвиану, однако на обратном пути помер от малярии. Другие говорят, был ограблен и зарезан в Роттердамском борделе. Каппа же была подобрана на свалке умирающим щенком с перебитой задней лапой. Щенок, однако, быстро поправился и вырос в гигантскую образину, тихо обожающую хозяина и равно не доверявшая никому более.

Старик Норман поселил мальчика в небольшом флигельке, где располагались мастерская, кладовка и маленькая каморка с окошком под самым потолком. Там же, когда наступали зимние холода, жила и Каппа.

– Тебе не будет с ней скучно, – сказал ему Старик Норман. – Она чертовски умна. Не веришь? Правда, знает об этом только она. И я. Все прочие считают её дурой. А она умница, каких поискать среди людей. Ха, они полагают, если собака подносит обувку и ложится по команде, она умная. Ну да, они ведь сами только и знают, что подносят обувку и становятся раком по команде, и на этом основании полагают себя умными. А Каппа... Каппа умеет говорить. Вернее, слушать. Говорить, парень, умеет любой идиот. А вот слушать – только умные люди. И собаки. Она выслушает тебя, ни разу не перебьёт, не поднимет тебя на смех, не проболтается и не заложит. А?! Какой тебе ещё собеседник надобен, дубина стоеросовая?!»

Каппа встретила его долгим утробным рычанием, и даже когда старик Норман демонстративно дружелюбно хлопнул его по плечу, рычать не перестала.

От собаки раздражающе пахло мокрой шерстью. Кроме того она ухитрялась портить воздух иными способами.

– Эй ты, псина! – зло сказал он. – Дубина хромоногая. Долго ли ты будешь тут вонять, вот что мне интересно более всего.

Собака издала некий неопределённый звук, означавший, вероятно, что она не намерена говорить в подобном тоне.

– Ну что, давай разговаривать? Эй, псина!

Собака приоткрыла глаз и повела ухом.

– Ты не против, верно? Ну и я не против. Мне, может, всю жизнь хотелось поговорить, а не с кем. Не с тёткой же Агатой. С хозяином твоим тоже ведь не разговоришься. Так?

Собака коротко вздохнула. Ему даже показалось, она кивнула своей лохматой, включенной головой.

Он не удержался и прыснул, собака тотчас вильнула хвостом.

– Эй, Каппа! Но вот, если ты в самом деле умеешь говорить, ну скажи мне хоть пару слов. А?

Собака недовольно заурчала, завалилась набок и вновь глянула на него. «Не болтай глупостей, болван», – сказали её глаза.

Он нерешительно протянул руку и поскрёб пальцами её затылок. Она сперва насупилась, но затем поощрительно заурчала.

И тогда он начал говорить. Просто говорить, не взвешивая слова, не боясь никого. Когда он говорил что-то, по его мнению, смешное, принимался для пущей убедительности хохотать во всё горло, и тогда Каппа тихонько подскуливала, что приводило его в ещё большее веселье. Когда он с горечью говорил о печальном, о несправедливом, по его мнению, она шумно вздыхала.

* * *

Уже перед сном он вышел из своего флигелька по малой надобности и увидел Хозяина. Тот сидел на ступени крыльца, прислонившись затылком к периле. Взгляд его был недвижно устремлён вверх. Ему это показалось странным, но значения он не придал – чудачеств за Хозяином водилось предостаточно. Однако когда он возвращался, Хозяин сидел всё так же, не сменив положения.

– Господин Норман, – осторожно и встревоженно подал голос Гравёр, – Эй, господин Норман!

Тот не шевельнулся. Тогда Гравёр опрометью кинулся к крыльцу и уже протянул со страхом руку, чтобы встряхнуть Хозяина за плечо, но услышал скрипучий и брюзгливый голос:

– Ну и что ты так разорался, болван? Вон даже Каппа вышла. Каппа, поди прочь, хватит мне одного дурака перед глазами!

– Я просто хотел узнать, что с вами, Хозяин, – обиженно, но облегчённо протянул Гравёр. – Вы так странно...

– Странно? Я просто сидел и смотрел на небо. Просто смотрел. Это странно? Ты что, никогда не смотришь на звёздное небо?

– Я? Да нет...

– Скверно, парень, скверно. Когда человек не смотрит на звёзды, у него мозги начинают зарастать хламом. Из него не выйдет мастера. Да нет, не пугайся, гравёром ты станешь. Будешь писать на дутых мельхиоровых браслетиках «Моей душечке Элинон в память о том счастливом дне» и прочую херню. Художник должен иметь третий глаз. Око разума. Если ты не видишь рисунок оком разума, никакое усердие не поможет. Этот рисунок должен быть с тобой всегда, должен сидеть в твоём мозгу, как пороховая татуировка, которая вытравится сама, но только когда ты закончишь работу и придёт черёд следующей.

Он помолчал и вновь запрокинул голову.

– Мой отец назвал как-то звёздное небо посланиями Господа, – говорил он, шурясь, будто звёзды слепили его. – Я никогда не видел и не увижу, каковы они вблизи, но издали, отсюда, я читаю их именно как письма. То есть пытаюсь. Да. Ведь я – часть их. Лишь Господу дано увидеть мир со стороны. Никогда не смыслил и не стремлюсь смыслить в этих созвездиях и гороскопах. Дурь это всё, сдаётся мне. Звёздное небо нельзя разъединять на лоскуты. Какое дело звезде, что какой-то здешний умник занёс её в какое-нибудь созвездие Козерога! Когда я смотрю на звёздное небо, я пытаюсь его понять. И вот уже более полста лет я это пытаюсь, как бы ни смеялись надо мной. Иногда, изредка, мне вдруг кажется, что я что-то как будто...

Но всё тотчас пропадает, как след павшей звезды... Звёздная ночь для меня – праздник!.. Не так ли, Каппа?

И тут псина, так же как и хозяин, высоко запрокинув голову, взвыла так протяжно и грустно, что удержаться от смеха было невыносимо.

Так закончился первый день Гравёра.

Жажда Ремесла

Он понятия не имел, сколько старик Норман платил ему за работу. И не желал знать. Деньги исправно забирали тётушки, каждое воскресенье заходили по пути из церкви. Присцилла хмуро отсчитывала им монеты, добытые из кармана передника, и, не слушая их неумолчную болтовню, молча, бесцеремонно выпроваживала прочь. Гравёр не стремился их видеть, равно как и они его. Как-то через три месяца он не узнал тётку Марту, столкнувшись с нею на улице нос к носу, да и она признала его лишь пройдя шагов этак десять, после чего немедленно с негодованием окликнула и прилюдно отчитала за нелюбезность и неблагодарность. Гравёр, не дослушав, пошёл восвояси, тотчас вновь позабыв о её существовании.

Он не интересовался деньгами, ему хватало кормёжки, что готовила Присцилла, – безвкусной, но вполне сытной. Его не волновало ничего, кроме Ремесла. Мастерство влезало в него тяжело и мучительно, как зазубренный тесак. Он впадал в безнадежное отчаяние от собственной криворукости, кривопалости, беспомощности и слепоты. Он едко презирал себя за неподатливое, неповоротливое воображение. Презирал свои незрячие зенки, свои корявые, непослушные уму пальцы, за косный, неповоротливый ум. Он всё ждал, когда ж развернется, наконец, это чёртово Око разума, боясь, что старик Норман выгонит его вон, прежде чем это случится. Он часами, кляня себя, таратился в звёздное небо и силился что-то понять, и даже упал однажды в обморок от перенапряжения. Он не слышал ни шумной брани старика Нормана, ни крикливых насмешек Присциллы. Он не слышал вообще ничего, кроме того, что касалось Ремесла. Он вгрызался в него с утробным, волчьим ожесточением.

Разговаривал он только с одним существом – с Каппой. Это её вполне устраивало, ибо позволяло проводить ночи, даже летние, не в постылой продувной конуре, а во флигельке, где подстилкой ей служили обширные тёплые подштанники любезной тётушки Агаты, которые она, вероятно, по ошибке сунула ему в мешок, провожая из дому.

Прошло, наверное, полгода, прежде чем старик Норман доверил ему самостоятельную работу. То был мельхиоровый браслетик с застёжкой и блёстками цветного стекла. Когда он прочёл надпись, кою надлежало вывести, он, к немалому удивлению заказчика, расхохотался во всё горло. «Моей душечке Элинор в память о том счастливом дне» – вот что гласила надпись.

Заказчик, однако, остался вполне доволен работой. Особенно восхитила его этакая пальмовая завитушка в конце буквы R. Он цокал языком, хлопал его по плечу, повторял: «Вот Элли обрадуется-то, вот уж обрадуется!», прочувственно жал руку старику Норману, не замечая его кривой, презрительной гримасы.

– Ну что, засранец, – сказал ему старик Норман, когда наконец закрылась дверь за заказчиком, – ты, кажется, слез с горшка. Поздновато, конечно, но могло быть хуже.

Гравёр победно ухмыльнулся, ибо на более высокую оценку он и рассчитывать не смел.

За ужином старик Норман угостил его, к удивлению Присциллы, аперитивом, да так обильно, что Гравёр, никогда ранее не пробовавший спиртного, придя во флигелёк, впервые не накормил Каппу и улёгся спать поперёк топчана.

Констанс

Она появилась, наверное, через год после того, как он начал работать у старика Нормана. Принесла увесистый золотой медальон с надписью «*Пышечке Констанс от её усатого котика*».

– Что вам будет угодно, сударыня? – спросил он с напускным удивлением и даже раздражением, ибо ему вдруг остро и жгуче понравилась эта невысокая, плотно и рельефно сбитая женщина, старше его лет на пятнадцать, с вкрадчивой, упругой походкой и голосом, хищно и

вместе с тем мягко очерченным ртом и большими, серыми, насмешливо прищуренными глазами.

– Уберёшь вот это, – она ногтем мизинца брезгливо очертила игривую надпись на медальоне. – И напиши... Ну, к примеру: *«Милой дочурке в день ангела»*.

Рука у неё была маленькой, розовой, почти детской, даже с крошечным следом от недавнего пореза на мизинце. Почему-то это взволновало ещё сильнее.

– Сможешь?

– Видите ли, сударыня...

– Я спрашиваю, сможешь или нет?

Она подошла ближе, настолько, что у него тотчас пересохло во рту. От неё сквознячком шёл запах популярных в ту пору кипрских духов, именуемых «Померанцевый мёд», но главное – непостижимый, сводящий с ума дух и упругое прикосновение сильной, зрелой, ухоженной женской плоти.

– Я смогу, смогу, – ответил он севшим, осипшим голосом. – Когда вам будет угодно?

– Мне было бы угодно завтра. Если не успеешь, я приду позже. Только...

– Приходите завтра! – Гравёр попытался улыбнуться, но вспомнив, что улыбка мгновенно превращает его изуродованное лицо в злую гримасу, поспешил сдёрнуть её с лица.

Констанс это заметила, негромко рассмеялась и вдруг, подойдя ближе, провела пальцем по сизому рубцу под левым глазом.

– Кто тебя так? – спросила она полушёпотом.

– Не видал, кто.

– Так бывает?

– Бывает всяко, сударыня.

Констанс снова рассмеялась и отошла к двери.

– Если мне понравится работа, мальчик, я тебе хорошо заплачу. Уж поверь...

– Но... Расплачиваться надо не со мной. А с господином Норманом.

– Ну уж нет! – Она вдруг расхохоталась, высоко запрокинув голову. – Со стариком я расплачиваться точно не стану.

Констанс пришла на следующий день поздно вечером. Она внимательно и придирчиво осмотрела медальон, наконец повернулась к нему спиной.

– Застегни! – бросила она коротко и требовательно.

Когда он непослушными, точно окоченевшими, пальцами застегнул наконец прихотливый замочек, она внезапно повернулась к нему лицом, запрокинула голову и произнесла, глядя на него потемневшими, сузившимися глазами:

– Застегнул? А вот теперь выведи уже к чёртовой матери эту свою собаку...

* * *

Эта история продолжалась месяца три. Они встречались в доме двоюродной тётки Констанс, что возле часовни святого Томаса. В маленькой комнатёнке под самым чердаком.

Тётка была дамой набожной, с бесшумной походкой соглядастая и столь же бесшумным, астматическим голоском. То, что вытворяла её двоюродная племянница, она не одобряла, и потому часть монет, полученных за молчание, неизменно жертвовала на богоугодные дела.

Однажды Констанс не пришла в назначенный час, и Гравёр прождал её во дворике до самого утра. То же повторилось и на следующий день. Продрогший и измученный, он возвращался лишь к утру, ложился под неодобрительное ворчание Каппы на свой топчан, а вечером вновь шёл к дому возле часовни. На третий день тётка сухо сообщила ему, чтоб он более не приходил, потому как Констанс, благодаренье богу, выходит замуж, да за какого-то важного господина, и вскорости уезжает с будущим супругом куда-то в колонии.

Три дня после этого Гравёр не появлялся в доме старика Нормана. Вернулся под вечер без плаща, в разодранной рубашке, осунувшийся, почерневший, с разбитыми в кровь костяшками пальцев и лиловым синяком вокруг левого глаза. Старик Норман застал его собирающим вещи.

– Ты куда опять собрался, дурья башка? – спросил он.

– Не знаю, – мрачно ответил Гравёр, покачиваясь и едва ворочая языком. – Вы ж меня теперь всё равно выгоните...

– Марш спать, болван! – заорал старик Норман так громко, что Каппа подскочила и трубно залаяла. – Нет. Прежде выведи Каппу на двор. И накорми. Хоть это ты сможешь?

Септа

С тех пор минуло четыре с лишним года. К тому времени почти все заказы выполнял уже Гравёр. Старик же Норман брался лишь за особо сложные, либо от особо знатных особ. Норман к тому времени продал дом, и они вселились в новый, просторный, двухэтажный, в другом конце города. Стало побольше богатых клиентов, потому что на этой улице жили состоятельные ремесленники, модные портные, торговцы, судейские, даже мелкая знать, грудились дорогие магазины, ювелирные лавки.

Тётка Марта к тому времени померла, тётка же Агата, схоронив сестру, стала быстро хиреть умом, появились приступы падучей и частые обмороки. Какой-то невесть откуда взявшийся родственник ревностно принялся её опекать: определил в монастырь святой Анны, после чего как-то совершенно по закону продал дом, утварь и сгинул из города прочь.

Деньги старик Норман ему по-прежнему не давал, а еженедельно складывал в некий ящичек, из коего Гравёр брал порою сам, дабы купить необходимое для себя и для тёток.

* * *

Был поздний вечер, Гравёр закрыл ящики стола и собрался было отвязывать Каппу (он её привязывал всегда, дабы она не пугала заказчиков), когда дверь содрогнулась от толчка такого сильного, что, казалось, едва не слетела с петель. Каппа, дремавшая возле кладовки, вскочила, выкатила глаза и залилась лаем. Гравёр, сунув на всякий случай за пояс остро отточенное долото, быстро и резко распахнул дверь. Он так делал всегда, когда в дверь стучались поздним вечером.

Перед ним стоял человек в низко нахлобученной шляпе, лицо его, словно маской, было укрыто густой рыжей бородой. Как ни странно, он узнал посетителя почти сразу, хотя не видел много лет и никогда с ним не разговаривал. То был Уго Стерн, его второй или третий заказчик. Три года назад он, собираясь на войну, принёс свой тяжёлый боевой шлем-капеллину и заказал надпись, опоясывающую фамильный герб: «С нами Господь, Богородица и Святая Хильда».

Говорили про него разное. Сначала, что он погиб в первой же схватке с туземцами, потом, что он не погиб вовсе, попал в плен и отпущен был за выкуп. Потом говорили, что он был приговорён к повешенью своими же за какой-то неведомый проступок, однако ж был пощаждён и отправлен то ли на каторгу, то ли в какую-то якобы «роту висельников», уцелеть в которой практически было немислимо, а он однако ж уцелел. Всякое говорили.

Уго постоял на пороге, затем прошёл в комнату, обойдя Гравёра, как некое незначительное препятствие.

– Где Норман? – спросил он каким-то скрипучим, ржавым клёкотом.

– Хозяин, верно, отдыхает после ужина, – ответил Гравёр, не сводя с посетителя насто-роженного взгляда. – Прикажете проводить?

Уго пожал плечами, достал откуда-то грубую промасленную холстину и развернул. Это был кинжал. Затем он медленно, точно нехотя вынул его из ножен морёного дуба с медной окантовкой. Гравёр замер, увидев его.

Лезвие было необычного серо-голубого оттенка с правильным, непонятно как сделанным узором – судя по всему, ветвь трилистника, – и было отточено так остро, что кромки невозможно было разглядеть – лишь радужный, пульсирующий, нестерпимо тонкий лучик.

Гравёр не удержался и осторожно провёл по нему большим пальцем, и его тотчас словно ожгло лёгким, но пронзительным холодком. Гравёр невольно отдёрнул руку. И тотчас за спиной послышался скрипучий смешок Уго Стерна.

– Чего дёргаешься? Боязно? Оно правильно. Нож хороший. Тронешь не так – пальцы, как стручки бобовые полетят. Уж я-то знаю.

Рукоять костяная, судя по всему, моржовый клык с прихотливо выточенными ложбинами для пальцев.

Эфес дугообразный. Посреди – полукруглая пластина чернёной стали. В центре её анаграмма – где выпуклая, где вогнутая. Гравёр не сразу сообразил, что она являет прихотливое сплетение двух букв: Z и X.

Заключена анаграмма была в вогнутый, гранёный барельеф семиугольной звезды. Для того чтобы понять, что гравировка совершенна, для него достаточно лишь прикоснуться к ней подушками пальцев. Металл, казалось, беззвучно пел под его руками. Абсолютное совершенство граней, матовую, зеркальную чистоту шлифовки он угадывал с безошибочностью слепца.

– Что надо сделать? – спросил Гравёр, не открывая замороженного взгляда от клинка.

Уго молча перевернул кинжал с боку на бок.

Вензель на другой стороне эфеса являл собою точное зеркальное отражение первого, однако без опоясывающей звезды. Кроме того, было ещё нечто совершенно неуловимое, лишь незримым интуитивным промельком ощущаемое, но что ясно указывало: анаграммы делались разными людьми. Гравёр хотел было сказать об этом хозяину, однако передумал.

– Надо, чтоб звезда была и здесь тоже. Всего-навсего. Сможешь?

Гравёр не ответил, он не мог отвести от кинжала зачарованного взгляда.

– Не можешь? – Уго хохотнул отрывисто и злобно. – Я так и думал. Стоило тогда морочить мне голову!

– Я... я попробую!

– Ты попробуешь? – Уго разразился едким глумливым хохотом. – Он попробует! Нет, щенок, пробовать ты будешь девок на сеновале. А сейчас постарайся забыть о нашем разговоре.

– Мой господин! – Гравёр вскрикнул так пронзительно, что сам испугался. – Я не *попробую*. Я – смогу.

Сама мысль о том, что он более никогда не увидит этот кинжал, отчего-то привела его в безысходное отчаяние.

– Гляди, парень, – сказал, уходя, Уго Стерн, – сделаешь как надо, заплачу так, что на полжизни хватит. Испортишь – пожалеешь, что на свет родился.

И в этот момент Гравёру с невероятной обострённой ясностью показалось, что вокруг анаграммы тонким, искрящимся абрисом высветилась та самая недостающая семиконечная звезда. Она мерцала пульсирующим беловато-синим светом, будто некое потустороннее живое существо.

Ему хотелось смеяться от счастья – вот оно, ради чего он жил все эти годы. Вот он, этот самый Третий глаз, чёрт бы его побрал совсем! А ежели и не он, так и плевать трижды. Он сделает заказ, даже если на кону будет жизнь, ибо впрямь, грош ей цена, если он провалит этот заказ.

* * *

Наутро старик Норман хмуро и пристально оглядел кинжал. Даже сделал им несколько мгновенных рубящих движений крест-накрест.

– Уго Стерн? – старик Норман покачал головой, не отрывая глаз от кинжала. – Не надо бы тебе с ним иметь дело. Уж поверь. Предоставь это мне. Приказывать не могу, но, поверь, для твоей же пользы.

– Нет, – Гравёр отчаянно замотал головой и глянул исподлобья.

– Тьфу, волчья порода. Смотри, я предупредил. Только ты с огнём играешь, помани моё слово.

– Я справлюсь, – Гравёр вдруг широко улыбнулся. – Он мне сам поможет.

– Кто – Он? – старик Норман подозрительно нахмурился. – Ты не о Господе ли нашем болтаешь, бездельник?

– Нет. Он. – Гравёр торжествующе указал пальцем на эфес клинка. – Вот видите: звезда! Она уже почти что есть. Осталось только вывести её по этому... сиянию!

– Звезда? Семиугольная, её ещё зовут Септа. Некий апокалипсический знак, который толком не истолкован... погоди, о каком сиянии ты говоришь?

– Ну вот же!

Искристый контур семиконечной звезды всё так же посверкивал на эфесе, как сквозь туманную маслянистую плёнку.

Старик Норман глянул на него тяжело и пристально.

– Ты ведь не морочишь мне голову, сынок? На умалишённого ты тоже не похож – дураки с ума не сходят. Стало быть, здесь то, чего я не понимаю. А коли не понимаю, то и говорить об этом не надобно. Сколько он дал тебе дней?

– Неделю, господин Норман.

– Много. Я даю тебе... четыре дня. Эти четыре дня ничем, кроме кинжала, заниматься не будешь. Но через четыре дня или садишься за обычную работу, или можешь убираться вон и наниматься конюхом к Уго Стерну. Полагаю, супруга его возражать не станет. Понял меня?

Гравёр кивнул, едва дослушав и едва не бегом кинулся к себе, прижимая к груди кинжал.

– Воистину, самому Дьяволу не по силам остановить человека, который решил во что бы то ни стало сломать себе шею, – хмуро пробормотал старик Норман, глядя ему вслед.

* * *

Он не помнил, спал ли он вообще в эти дни. Пожалуй, что и не спал вовсе. Если и спал, то и там было одно: мерцающий силуэт *Септы*. Он манил и как будто всё время что-то подсказывал, но, придя в себя, он так и не мог вспомнить, что. От работы его отрывала лишь Каппа, которая дважды в день силой сволакивала его со стула и выводила на прогулку.

Азарт и страх жили в нём, не мешая, а лишь уравновешивая друг друга.

Первые полдня ушли лишь на размышления. Он тщательно, до крупинки продумал, с чего и как он начнёт. Он приготовил всё, что только может понадобиться ему для работы. Мысль, что его в самый сложный момент может отвлечь от дела какое-нибудь ерундовое отсутствие нужного резца или свёрлышка ему претила.

Он наслаждался работой. Он жил ею, она жила им. Когда дело почему-либо не шло, он не отчаивался, как оно бывало прежде, а лишь впадал в хищный, куражливый запал. Кинжал стал его сильным смертельным врагом и неопенимым другом. И в конце концов страшило его лишь то, что работа вскоре закончится.

Она и закончилась. Он это понял, когда вдруг погасла семиугольная звезда на эфесе. Словно та, рукотворная, законно пришла ей на замену.

Когда она закончилась, он показал кинжал старику Норману. Тот вертел его в руках, морщился, уже открыл рот, чтобы сказать по обыкновению что-то вьедливое, но осёкся и вдруг обнял его и еле слышно вхлипнул. И в этот момент, показалось Гравёру, полыхнула и вновь погасла семиугольная звезда на чёрном эфесе...

Безумец

Уго Стерн пришёл за заказом, как и прежде, возле полуночи. Был на сей раз сильно взбодражен, похоже, изрядно пьян. Даже борода, казалось, была включена. Капюшон забрызган грязью, кафтан порван, лицо же, и без того смуглое и морщинистое, напоминало взломанную сургучную печать.

– Ну что там мой заказ? – Уго вперил в Гравёра тяжёлый сверлящий взгляд. – Готов, надеюсь?

– Точно так, ваша милость, – Гравёр вежливо склонил голову. – Прикажете принести?

– Конечно прикажу! Да живее!

Потом он долго и неподвижно сидел, сторбившись и пристально разглядывал эфес кинжала, водил по нему большим пальцем с фиолетовым, сбитым ногтем, щурился, что-то бормотал.

– Ха! – вдруг гаркнул он так громко, что Гравёр вздрогнул и невольно отшатнулся, а Каппа за стеной залаяла и заскребла лапами дверь.

– Ха! – выкрикнул он того громче и хлопнул его по плечу. – А ведь сделал, чёртов уродец. Да ты, брат, умелец! С тобой можно дело иметь. Ладно. Скажешь Норману, чтоб зашёл завтра за оплатой. Я не при деньгах сейчас. Ну так вышло.

– Но, господин Стерн...

– Что – но? – Уго вперился с него со злобой и презрением. – Ты хочешь сказать, что баронет Уго Стерн может удрать, не заплатив, как какой-нибудь... карточный шулер?

– Я только...

– Я сказал завтра, стало быть, завтра.

Впрочем, Гравёр его почти не слышал. Он с внезапно навалившимся отчаянием провожал глазами кинжал, который, как ему казалось, навсегда скрылся от него в тёмной норе ножен.

– А... скажите, чей это кинжал? – вдруг неожиданно для себя самого выпалил Гравёр. – То есть, я хотел сказать, кто его сделал?

Уго, вновь вынул кинжал из ножен и глянул на свет. Лицо его болезненно исказилось, сухие бескровные губы зазмеились, как трещины на камне.

– Кто его сделал? Того, кто его сделал, уж лет триста как на свете нет. Да и лучше б тебе и не знать вовсе, кто его сделал.

– Поди, деньжищ стоит этакая вещь, – притворно вздохнул Гравёр, ибо это его интересовало менее всего. Ему просто нужно было сказать хоть что-то, чтобы ещё хоть несколько мгновений кинжал не исчезал из его жизни, словно за эти мгновения могло произойти некое чудо, которое остановит и крутанёт назад ржавый маховик времени, и отбросит его к той ночи, когда проник в его душу мерцающий контур семиконечной звезды...

– Деньжищ! – Уго Стерн презрительно сплюнул и сипло расхохотался. – Нет. Тут не деньги, парень. Тут... тут другой счёт. Совсем другой. Такой, что ни в один кошель не уместится, вот какой.

– Уж скажете, – лицо Гравёра растянулось в глуповатой ухмылке. Он ясно понимал, что совершает нечто тревожное и опасное, однако остановиться уже не мог и не хотел. – Это что ж такое, чего и за денежку не купишь? Не душу ль сатане, прости господи?

В ту же секунду тяжёлый удар в грудь отбросил его и едва не опрокинул навзничь на стол... Прямо над собой он увидел вытаращенные, сумасшедшие глаза Уго Стерна. Узловатыми, каменными пальцами он схватил его за горло.

– Душу? – он хрипел ему в лицо кисло и угарно. – Может статься, и душу. Запросто может быть. Да только не тебе, поганец, о том судить! Не тебе! Не тебе!..

Гравёр отчаянной, безумной пружиной вывернулся на какое-то мгновение, перевалился на живот, с ненавистью вцепился зубами в вездесущую жилистую ладонь. Уго выкрикнул проклятие и вновь с чугунной силой навалился на него, одной рукой упёрся ему в затылок, прижав лицом к столу, другой вновь сдавил его горло. Гравёр пытался закричать, но вышло лишь глухое кошачье шипение. Он слышал лишь тяжкое дыхание и кряхтение Уго, да истощенный лай запертой Каппы. Он из последних сил вновь попытался вырваться, а потом вовсе перестал ощущать мир...

* * *

Гравёр обнаружил себя скорченным на полу в луже собственной рвоты. Лицо было в кровь разбито, шея болела так, будто её переехало тележное колесо... Он ещё лежал некоторое время, дожидаясь, пока в него войдёт хоть какое-то подобие силы, чтобы подняться с пола. Он не сразу вспомнил случившееся, а вспомнив, содрогнулся от ужаса – ему показалось, что на него по-прежнему со стеклянной пристальностью глядят бессмысленные глаза безумца.

Было, однако, тихо. Тишину, правда, нарушали какие-то непонятные звуки, но Гравёр решил пока не обращать на них внимания и вновь закрыл глаза.

Однако из забытья его вывели те же странные звуки. Нечто похожее на утиное кряканье. Приподняв голову, он к своему ужасу вновь увидел Уго. Тот сидел на корточках возле самой двери, скорчившись, будто присел по нужде. Это именно от него исходили те странные, будто нечеловеческие звуки.

– Эй, господин Уго, – произнёс Гравёр, не узнавая собственного голоса.

Тот приподнял голову, но глянул куда-то в сторону. Взгляд пустой, точно дотла выжженный. И вновь этот ужасный гортанный, харкающий звук. Гравёр наконец сел, преодолевая головокружение и тошноту. Рука его наткнулась на что-то холодное, он невольно отдернул руку. Это было лезвие кинжала. Он сначала с отвращением оттолкнул его от себя, но потом, встав на четвереньки, дотянулся и взял в руки. Затем, держась за скамью, поднялся на ноги.

– Эй, господин Стерн! Вы что такое себе позволяете? У нас тут приличное заведение. Ступайте к себе домой.

И как раз в этот момент спина Уго Стерна страшно, с каким-то как будто скрипом вытянулась, глаза широко раскрылись, да так и остались распахнутыми, как две мутные оледеневшие лужицы.

– Господин Стерн, да что ж с вами такое-то?! Вставайте, вставайте, нечего тут, – бессмысленно бормотал Гравёр, хотя ясно понял, что произошло. Он легонько толкнул быстро коченеющее тело того, кто был Уго Стерном, и тот, не разгибаясь, стал валиться набок. И только тут Гравёр увидел, что долгополый, широкий плащ Уго Стерна, суконный, вышитый галуном камзол и даже башмаки черным черны от крови. Кровь была и на лезвии кинжала.

* * *

Некоторое время он с бессмысленным усердием вытирал лужи крови с пола и с порога, зачем-то волоком оттащил труп под стол. Потом с ожесточением и руганью пытался запихнуть под стол торчащие ступни, но они упорно продолжали торчать. Он готов был делать что угодно, лишь бы не думать о том, что произошло и что теперь надлежит делать. Рассудок его не желал

соотнести кошмар, наскоро упрятанный под стол с реальной жизнью. Затем он ополоснул лицо водой из кувшина и решился, наконец, пойти позвать старика Нормана. Однако едва он подошёл к двери, она вдруг распахнулась настежь.

У порога стояла Констанс.

* * *

Увидев её, Гравёр на какое-то время утратил дар речи. Он несколько раз порывался что-то сказать, но слова бессильно барахтались в пустоте, не в силах обрести опору и очертания.

– Констанс?! – выдавил он наконец из себя. – Ты... ты как меня нашла?! Ведь я...

Однако Констанс смотрела словно сквозь него. Она и узнала-то его с трудом, хотя он переменился. Взгляд не выражал ничего, кроме досады и тревоги.

– Нашла? С чего ты взял, что я тебя искала? – она отодвинула его плечом и обошла, как нечто неодушевлённое. – Многовато чести будет для сопливого подмастерья. Я знать-то не знала, что ты здесь. Я ищу мужа. Дворецкий сказал, что он пошёл сюда. Он был здесь?

– Муж?! – Гравёр даже попятился. – Уго Стерн – твой муж?

– Да, чёрт тебя побери, да! – вспыхнула Констанс. – Муж, представь себе! Так он здесь был! Скажи, куда он запропастился и перестань на меня пялиться! Ну?!

Но глянув наконец в застывшие от ужаса глаза Гравёра, замолкла и тихо подошла к нему.

– Так. Что-то случилось, да? Ну что ты киваешь головой, глупенький барашек? А?

Гравёр замычал, будто глухонемой и ткнул пальцем в сторону стола. Констанс, стиснув руками виски, словно боясь, что у неё лопнет голова, на цыпочках подошла к столу и присела на корточки. Издала странный, воющий всхлип, не то ужаса, не то отчаяния. Настороженно тронула за башмак, затем прикоснулась к красной и пятнистой ладони, тотчас отдернула. Что-то сказала шёпотом. Затем поднялась на ноги.

– Это – ты?! – Констанс глянула на него с ужасом. – Ты убил его?! Ты?!!

Гравёр попятился и отчаянно затряс головой. Слова вновь застряли у него в глотке, да так, что он едва не задохнулся.

– Констанс, клянусь всеми святыми, я не знаю, как оно всё вышло! Он напал на меня, он едва мне горло не перешиб. Он был вообще не в себе. Ты даже...

Констанс, однако, его не слушала. Она присела на корточки, откинула с головы Уго Стерна нависший на самые брови капюшон, пристально глянула в глаза, затем вздрагивающей, растопыренной пятернёю прикрыла веки.

– Он впрямь умер, – сказала она тихо и безучастно. – Слышите, вы? Уго Стерн мёртв. Он уже никогда не... В общем, он уже – никогда и нигде.

Она вновь зашла в припадке и её плечи затряслись. Гравёр, что-то причитая, кинулся было к ней, но непонятные, квохчущие звуки вдруг перешли в отрывистый, насморочный смех.

– Ты всё-таки умер, Уго Стерн, ты сдох, как пёс под забором, Уго Стерн! В какой-то грязной мастерской. Вы все слышали? Баронета Уго Эдгара Стерна, отпрыска рода Левелинов зарезали, как свинью в ночь на Рождество! Прости меня, Господь мой, прости мне мою радость, но ведь куда худшим грехом было бы изображать горе и страдание, да. Да, Господи, я счастлива, что ты прибрал наконец эту окаянную, поганую душу, прибрал к чертям в пекло. Ты ведь знаешь, Господь Всеведущий, что я сама хотела его убить. Возможно, сегодня. Убить, пока он не убил меня. Ты уберёг меня от этого, Господи, как мне благодарить тебя?

Она несколько раз торопливо, с жаром перекрестилась, после чего неторопливо поднялась на ноги.

– Слушай-ка, – она наконец повернулась к остолбеневшему Гравёру, – у тебя тут същется что-нибудь выпить? – она для верности несколько раз звонко щёлкнула пальцем.

– Нет, Констанс... госпожа Стерн. Но я, если хотите, могу подняться. В кладовке у Присциллы всегда аперитив, я мигом.

– Ну уж нет. Оставаться одной с этой падалью я не хочу. Оживёт ещё, прости господи! Я пойду, пожалуйста, мальчик мой. Я бы тебя отблагодарила, но – тороплюсь, право слово.

– Но, – Гравёр растерянно развёл руками, – что же мне делать с... со всем этим? Я...

– А делай что хочешь, – Констанс выпрямилась, глянула на Гравёра с усмешкой и, не спеша, подошла к зеркалу. Накрутила на палец локон. Увидела там косое отражение – безобразно расставленные подошвы сапог бывшего супруга, мигнула и кивнула им, точно прощаясь. – А я пойду, пожалуйста.

Однако, поворотившись к двери, отшатнулась, увидев сухую, как дерево в пустыне, фигуру старика Нормана. Он стоял возле косяка, скрестив на груди руки.

– Одну минуту, госпожа Стерн. Вы ведь не хотите оставить нас двоих наедине с нашей с вами общей бедой?

– Вот что, господин Норман. – Констанс с трудом подавила испуг. – Я не знаю, что здесь произошло. И знать не желаю. Поэтому...

– Вы ведь не думаете, госпожа Стерн, – так же невозмутимо, точно не расслышав её вовсе, продолжал старик Норман, – что я позволю вам спровадить на виселицу моего непутёвого друга, а самим после всего этого зажечь вольной богатой вдовой? Каппа полагает, что это было бы некорректно.

Каппа в чулане ответила богатырским лаем.

– На виселицу? Его? Да к чему это мне. Мне нет до него никакого дела.

– Знаю. Потому и прошу вас настоятельно – погодить.

– Меня ждут, – холодно и зло бросила Констанс и даже попыталась оттолкнуть старика Нормана в сторону.

– Ошибаетесь, сударыня, – старик Норман улыбнулся и для верности пинком распахнул дверь. – Как видите, там никого нет. Присцилла только что сказала вашему лакею и кучеру, что супруга вашего тут сегодня не бывало, а что вы здесь задержитесь по своему делу, а когда в них будет нужда, за ними пришлют посыльного.

– Чего вы от меня хотите? – голос Констанс ссохся от страха и ненависти.

– Всего-то навсего, чтоб вы выполнили свой долг – предали земле бранный остов супруга вашего. А мы вам поможем. Я прочту молитву, вы поцелуете покойника в лоб. А он сделает всё остальное. И чем больше людей увидят, как мы втроём повезём среди ночи рогожий куль на двуколке, тем меньше будет у вас шансов безнаказанно исковеркать ему жизнь.

– Но послушайте! – Констанс выкрикнула и затихла, точно прислушиваясь. – Послушайте! – она уже перешла на шёпот. – Ведь я никак не виновата в... в смерти моего мужа.

– А кто тут говорит о вине? Вины, мадам, в философском плане вообще не существует. Существует лишь стечение обстоятельств. А они, мадам, таковы, что вы искренне желали смерти вашего супруга, а нынче поздно вечером покинули дом, после чего супруг ваш пропал без следа, что у вас есть любовник, которому вы подарили золотой перстень покойной первой жены Уго Стерна, за что последний обещал обоим вам поломать хребты. Довольно или продолжить?

– Оставьте её, господин Норман, – угрюмо произнёс молчавший доселе Гравёр. – это я убил Уго Стерна. Пырнул его в бок. Я один. Ни она, ни вы тут ни при чём. Я один и отвечу, ежели надо будет.

Констанс быстро закивала головой, точно Гравёр спрашивал её согласия и глянула на него с благодарностью, а на старика Нормана – с надеждой.

– Знаешь, мальчик мой, – вздохнул в ответ старик Норман. – Я в жизни натворил много глупостей, особенно в твои годы. Однако всякий раз возле меня находился благодаренье Богу, человек, который не позволял мне довести дурость до конца. Слушай меня и не рыпайся, ибо

сейчас для тебя я есмь альфа и омега... Однако мы время ведём впустую. Зови Присциллу, пусть поищет куль да попросторней. После запряжешь двуколку. А мы покудова с мадам Стерн сделаем остальное. Берите ведро и тряпку, мадам! Вы ведь не всю жизнь были родовой леди, не так ли?!

* * *

К рассвету следующего дня брэнная плоть Уго Стерна, завёрнутая в грубую рогожу, упокоилась в заброшенной штольне неподалёку от города.

Гравёр и старик Норман довели Констанс Стерн до дома. Она спрыгнула с двуколки и быстро зашагала к массивным литым воротам. Гравёр вдруг вскочил, ринулся было за нею, но старик Норман с неожиданной силой ухватил его за ворот, как щенка, и воротил на место. «Сидеть на месте, сукин сын!» прошипел он ему в ухо.

– Госпожа Стерн! У вас подол испачкан глиной! Застирайте сами, не доверяйтесь горничной.

Констанс кивнула, не оборачиваясь, отворила ворота ключом и скрылась в темноте.

* * *

Дома старик Норман дал ему выпить душистого карибского рома. Кажется, только тогда с Гравёра слетел наконец молчаливый столбняк.

– И что же теперь делать? – спросил он, переведя дух и глянув с надеждой на старика Нормана.

– Что делать? Думаю, тебе придётся уехать из города. И чем скорее, тем лучше. Завтра с утра пораньше соберёшь вещи да и уедешь.

– Уехать? – Гравёр глянул на него совершенно потрясённый, ибо уже не мыслил жизни без этого дома. – Но ведь... Но ведь Констанс...

– А что Констанс? Констанс будет молчать, пока её покойного супруга не хватится его родня. А когда она его хватится, то вдовушку как пить дать припрут к стенке. А когда её припрут к стенке... Ты ведь уже понял, что выгораживать тебя она точно не станет?

– Понял, – Гравёр мрачно кивнул. – Вот и вы хотите от меня избавиться поскорее.

– Дурак, – равнодушно ответил старик Норман. – Право же, дурак. Положи себе сроку один год. Через год, если пожелаешь, – возвращайся.

– Скажите, а правда, – Гравёр ещё глотнул жгучего рома, сморщился и затряс головой, – правда ли, что Уго Стерн... ну... продал душу дьяволу?

– Душу дьяволу? И как ты себе это представляешь?

– Я? Да... Никак не представляю.

– Вот и я не представляю. И никто не представит. Потому как дьявола, по моему скромному разумению, и в природе нету. Дьявол, по моему скромному разумению, – это тень, отбрасываемая Богом. Господь создал мир единственно таким, каким он мог быть. Мир без Зла существовать не может. Это как трение – оно, вроде, мешает движению, а без него движение немислимо. А поскольку святошам не понять, что Господь, создав мир, создал также и зло, они и выдумали какого-то там Дьявола... Однако мы отвлеклись. Итак, ты уйдёшь утром. Лучше затемно. Я приготовлю всё, что тебе необходимо. Ну и твоё жалованье за столько лет. Тебе хватит на год за глаза. И ещё вот это...

Старик Норман насупился и вынул из-за пазухи медальон. Тот самый медальон Констанс: «Милой дочурке в день ангела».

– Но... Откуда он у вас?! – спросил ошарашенный Гравёр.

– Откуда. Она сама дала мне, вот откуда. Сказала: пусть будет ему память обо мне. Ну тебе, то есть. Да! Только мой тебе совет – избавься от него поскорее. Госпожа Констанс не сентиментальна и уж точно не из тех, кто легко расстаются с золотыми бирюльками. А штучка-то дорогая, думаю, больше десяти унций с цепочкой. Как пить дать, что-то задумала. Так что продай ты его от греха подальше, да только не здесь, ясно дело. И вообще, если надумаешь работать, не иди гравёром. Потому как, ежели тебя станут искать, то будут искать именно... Э, братец, да ты спишь совсем. Так и спи. Каппу я сам выведу и накормлю...

Художник

*Прожить свой век, познать нужду, и только
Пред смертью научиться рисовать,
И видеть мир, и всё понять... Как горько
С сознанием этим было умирать.*

Эти странные строки Гравёр высек на надгробном камне неизвестного художника из города Сарагоса Бенигно Дельгадо.

* * *

Жизнь после бегства из города поначалу не складывалась. Деньги незаметно сгнули, потому как он решительно не умел с ними обращаться. Не было случая научиться. Медальон Констанс он так, однако, и не продал.

Работу гравёра найти не удавалось, ничем же иным заниматься он не желал. Наконец он нанялся к коренастому крабообразному старичку с розовым вощёным носом и звонким голосом скопца. Старику понравился умелый (куда более, чем он сам) работник. Он даже вознамерился было обженить его на своей переспелой дочери. А однажды Гравёр застал его в своей каморке бесцеремонно роющимся в его котомке. Завидев Гравёра, старичок ничуть не смутился.

– Откуда у тебя вот *это*? – властно спросил он вместо ответа на вопрос, что ему угодно, и указал пальцем на кинжал, лежащий поодаль.

– Это моё, – коротко и мрачно ответил Гравёр и нагнулся, дабы поднять кинжал, но старичок с ящеричьим проворством схватил его маленькой и худой, как сухая ветка, рукой и спрятал за спину.

– Твоё? Это ты скажешь констеблю, дружок! Он у нас малый справный. У него что голова, что кулачищи – одного размера, и содержимого одного. Он сумеет вызнать, откуда у безродного нещелуда, у коего даже имени-то нету, вещь, которая стоит больше, чем весь этот дом со всеми обитателями. Имей в виду, я уже послал за ним мальчишку посыльного, так что не тарась на меня буркалы! Пока он идёт, мы успеем договориться. Тогда я извинюсь перед стариной Дуайтом, выпью с ним по кружке верескового пива. И дело с концом. Ну а если не договоримся...

– Не знаю, о чём нам договариваться. Этот кинжал мой и будет моим. Вам я его не отдам. И никому не отдам – ни констеблю, ни даже её величеству. Скорее сдохну. И если понадобится вас убить, видит Бог, я это сделаю.

Сказав это, он толчком усадил старичка на пол, взял у него из рук кинжал, неторопливо собрал котомку и ушёл, оставив его сидящего на полу, обмочившегося и потерявшего дар речи.

Так же неторопливо сбежал по лестнице, у входа, сняв шляпу, раскланялся с констеблем и, лишь дойдя до угла, пустился бежать.

В порту он в тот же день нанялся матросом на голландское торговое судно, шедшее в Южную Африку.

* * *

За полторы недели в штормовом Бискайском заливе Гравёр чуть не отдал богу душу от морской болезни. Кроме того, на корабле его едва не ограбили. Защищался он простой вымбовкой, кинжал же вытащить не рискнул, ибо боялся за него. Грабители, их было трое, напрямую напасть не решились, но твёрдо пообещали зарезать в самую ближайшую ночь.

В порту Бильбао он спрыгнул в воду и вплавь добрался до причала. Заночевал у пожилой цыганки, которая одинаково скверно говорила на всех возможных языках и наречиях. За последний грош она накормила его фасолевым похлёбком с вяленным тунцом, чашкой хереса. Сказала, что жизнь у него будет странной: денег будет порой много, но он всегда будет нищ, будет слава, но никто не помянет его после смерти, женщины не принесут ему ни счастья, ни забвения, окружающие будут считать его несчастным, и только он сам назовёт себя счастливым. А ещё сказала, что работу он себе в Бильбао, верней всего, не сыщет, зато может сыскать её в городе Сарагоса, что примерно в трёх днях ходьбы.

Так и случилось. Владелец трактира, что у городских ворот, сказал, что вроде надобны резчики по дереву для ремонта базилики в Соборе Пресвятой Девы дель Пилар, да только его навряд ли возьмут, потому как он чужеземец, и кто ж пустит чужеземца, да ещё и не католика, в Святая святых!

Однако старший в артели резчиков сеньор Аройо, хотя и был истовым католиком, в работники его взял сразу, лишь бегло глянул на его работу, и даже выдал самолично пять пиастров, потому как Гравёр уже едва стоял на ногах от истощения: три дня скорого пешего хода без гроша в кармане. «Мне нужны толковые работники, а не хор мальчиков-кастратов», – сумрачно сказал он недоумевающему десятнику.

Товарищи по работе приняли его настороженно, но умение, сноровка и невозмутимый, уживчивый нрав взяли своё. Благо, он очень скоро научился бегло говорить по-испански. Его прозвали Лобото, Волчонок, и он отзывался на это прозвище.

Поселился он в доме недавно овдовевшего каменотёса Бенигно Дельгадо. Это был пожилой, неопрятный человек, очень близорукий, изрядно пьющий, вдобавок мучительно заикающийся и потому малоразговорчивый.

Как-то, вернувшись с работы, Гравёр обнаружил на своём столе свёрнутый в рулон холст и машинально развернул. То была писанная маслом картина, похоже, незавершённая. Поначалу впечатления не произвела: обесцвеченная, выскобленная зноем и пылью дорога, жухлый кустарник по обочинам, женщина, неимоверно уставшая, с сухим, морщинистым, как опавший лист, лицом стоит, прислонившись спиной к каменному дорожному столбу. Перед ней – мужчина с дорожной сумкой, в плаще и грубых башмаках. Смотрят друг на друга, но, хотя и стоят едва ли не лицом к лицу, словно бы видят друг друга с трудом, даже и не видят, а словно бы угадывают существование друг друга. Мужчина даже приподнял ладонь ко лбу, дабы разглядеть получше. Они рядом и вместе с тем как бы в недосыгаемо разных сферах, которые каким-то невероятным образом чуть соприкоснулись. И вот эта призрачная, словно колышущаяся кисейная грань была передана какими-то особыми, чуть радужными, предельно разреженными мазками.

Гравёр сложил холст, затем, подумав, снова развернул его. Долго, не отрываясь, смотрел, словно силясь проникнуть взглядом куда-то вглубь, сквозь застывшие желтовато-серые

наплывы краски. Никак не мог понять, что ж именно так неотвязно притянуло его к этой, в общем, невзрачной картине.

От внезапного скрипа половицы он вздрогнул. Позади стоял хозяин дома. Гравёр торопливо свернул холст и вернул на стол.

– Простите, сеньор, – забормотал он, смущённо разводя руками. – Это... это было... лежало здесь. Я только глянул.

Каменотёс кивнул. Гравёр впервые увидел, как он улыбается. Тогда он снова развернул холст.

И на какое-то время он словно забыл о его существовании. И вновь смотрел, не отрываясь, на женщину на холсте. Он не сразу понял, что именно такой рисовалась ему в сумрачных сумбурах воображения его давно покинувшая мир мать. И, наверное, именно так смотрела бы она на него, если бы вдруг явилась горячим, зыбким видением на пустынной дороге. Если бы вдруг...

– Это – мать? – спросил он, указав пальцем на женщину. – *La Madre. Si?*

Дельгадо молча кивнул, подошёл на цыпочках и встал сзади, глядя на холст через его плечо.

– Агнесса... – вдруг произнёс еле слышно Гравёр.

– Нет, – услышал он тихий голос за спиной. – Не Агнесса. М-м-мария.

– Мария, – так же беззвучно повторил Гравёр. – Мария... Погодите, это... Не видение² ли?

Дельгадо радостно и вместе с тем как-то опасливо закивал. И тотчас прижал палец к сухому, выпаренному рту. Гравёр кивнул и улыбнулся радостной улыбкой посвящённого.

* * *

Через день господин Аройо отправил его в Сан-Себастьян принять и доставить большую партию дорогого китайского ясеня для облицовки хор в соборе. Поездка затянулась на три недели. Груз пришёл с опозданием, к тому же часть партии была изрядно подмочена и потому непригодна.

На обратной дороге в Бильбао заглянул к той цыганке, что когда-то его приютила. Та охотно приняла подарок, дешёвую брошь посеребрённой латуни, и хоть сделала поначалу вид, что не узнала его, сказала, прощаясь: «Поторапливайся, форастеро³, в доме беда может случиться». – «О каком доме ты говоришь? У меня нету дома. И едва ль будет», – «У бездомных домов не счесть. Поторапливайся, я сказала, авось поспеешь...»

В доме он застал плачущую слабоумную племянницу сеньора Дельгадо Каталину, которая, таращась и всхлипывая, сообщила, что дяденьку Бенигно разбил паралич, что он будто бы упал вечером с крыльца, будучи немало выпимши, да и ударился спиной о каменные ступеньки.

Сам хозяин дома лежал с мокрым полотенцем на голове, открывая по-рыбьи рот, что-то силиясь сказать, и указывая пальцем на полуразвалившийся, нещадно чадающий камин...

* * *

Гравёр не знал, что через день после его уезда в дом приходил дон Кристоаль Перальто, живописец, волею градоправителя (кем-то, говорят, ему приходился) возведённый главою над

² Собор Пресвятой Богородицы у Столба в Сарагосе был воздвигнут на месте, где, согласно легенде, произошло видение Девы Марии апостолу Иакову.

³ Forastero (*исп.*) – пришелец.

всеми реставраторами собора. Несмотря на молодость, был вял, слабосилен, изжелта-бледен лицом, говорил голосом простуженного ребёнка. «Не мужчина, а чулок, набитый песком, – сказала как-то о нём широкобёдрая стряпуха Хосефа, – скорей померла бы, чем легла с таким, прости Господи!»

Говорили, однако, будто подавал надежды как живописец, ибо, несмотря на внешнюю субтильность и жеманность, был сметлив, наблюдателен, чуток на поветрия, умел в нужный момент появиться, и в нужный же момент исчезнуть с глаз долой. Картина его «Святая Анна во младости» была даже на некоторое время выставлена в Королевской Академии в Мадриде, потому как образ Святой чудным образом совпал с чертами лица и даже одеянием инфанты Марианны.

Бог весть, что за надоба привела Маэстро (а именно так надлежало звать дона Кристо-баля подчинённому люду) в дом простого каменотёса, да ещё в поздний час. И пока племянница Каталина, визжа и жестикулируя, будила прикорнувшего после невоздержанного ужина дядюшку, Маэстро, морщась от всепроникающего духа нищеты, тщеты и греха, присел на скамью. Хотел было предаться мыслям о неистребимости порока и неотвратимости воздаяния за него, но обратил внимание на свёрнутый холст. Глянул, брезгливо морщась, повертел, да и бросил на пол.

Когда Каталина привела наконец нетвёрдо ступающего и бормочущего дядюшку, дон Кристобаль, запямятовав на какое-то время, зачем он, собственно, пожаловал (а пожаловал сластолюбивый Маэстро, верней всего, затем, что положил глаз на грудастую, рано поспевшую и беззаветно глупую Каталину), замылся, пнул лежащий на полу рулон и ткнул пальцем.

– Эй, как тебя там! Это – что?!

И тут каменотёс, отпихнув племянницу в сторону и едва не потеряв от того равновесия, схватил с пола рулон и спрятал за спину.

– Что такое, я спрашиваю? – дон Перальто говорил, грозно сдвинув комично жидкие нитяные бровки. – Чья это мазня?

– Моя, – ответил Дельгадо, виновато опустив голову и отступив на шаг.

– Ах, твоя! – дон Кристобаль расхохотался. Он очень хотел, чтоб хохот получился сообразно его нынешнему сану – таким густым, раскатистым, басовитым. Но не получилось. Вышел жалкий, блеющий хохоток. Вышел и растёкся, как желток на блюде.

– М-да, – сказал он, отсмеявшись. – Значит, говоришь, это твоя мазня? Давай поглядим, что ты такое тут намазал?

Он требовательно протянул маленькую птичью пятерню, и каменотёс, поколебавшись, дал ему холст.

– Ну? – Маэстро брезгливо выпятил толстую, бескровную, как мокрица, губу. – И что тут? Нищенка какая-то. Старая, истаскавшаяся подстилка. Да? А это кто, перед ней? Это какой-нибудь...

– Это не подстилка! – Каталина надулась и глянула на дона Кристобаля сердито, исподлобья. – Это – Матушка наша, заступница и госпожа. Пресвятая Дева, вот кто!

– Кто?! Что ты несёшь, убогая! Эй, Дельгадо, это что, правда?

– Истинная правда, сеньор, – опустив голову, произнёс каменотёс.

Дон Перальто переменялся в лице. Всё это переходило всяческие границы. Да! Одно дело пачкотня уличного художника. Совсем иное дело – человек, допущенный, можно сказать, в святая святых. И потом, что ж получается: человек, по сути не бравший в руки красок и кисти, вдруг берёт и пишет картину. Что, вот так вот взял да и научился? Э, нет, так не бывает! Интересно, что ещё намалевал этот старый пачкун.

С другой стороны, ему стало немного жаль этого немощного человечка с дрожащим сизым подбородком, слезящимися глазами, реденькими седыми космами. Ну, возомнил себя живописцем под старость-то лет.

– Вот что, Дельгадо, – сказал он сдержанно и сурово, как провинившемуся ребёнку, – будем считать, что я тут ничего не видел и не слышал. Хорошо?

Маэстро ободряюще улыбнулся. Однако каменотёс, вместо того чтобы рассыпаться в благодарностях, угрюмо молчал, не сводя с него настороженного и даже, можно сказать, дерзкого взгляда.

– Эй, Дельгадо, ты слышал, что я сказал? – Маэстро возвысил голос. – Ты ничего не намалевал, и я ничего не видел. Каждому должно знать место и дело. Так вот, твоё дело – зубило и молот. А то ведь мне подумать страшно, что с тобой станет, ежели прознают, что ты изобразил Пресвятую Деву придорожной попрошайкой! Ну? – Сказав это, дон Перальто вновь презрительно и гадливо развернул холст. – И что всё это, скажи на милость?!

– Это – видение Пресвятой Девы, – дрожа всем телом, сказал каменотёс. Хотел сказать ещё что-то, но приступ икоты загнал слова внутрь.

– Что?! – Маэстро вскочил на ноги. – Да ты не с ума ли сошёл, старый дурень? Это – видение? Это...

И тут – словно кусачий ременный жгут перехватил горло Маэстро. Он ведь сам уже несколько месяцев был занят над написанием монументального полотна «Чудесное видение», которое должно было бы достойно украсить стену часовни при соборе. Он упивался работой и остро предвкушал грядущую славу. Работа продвигалась споро, с подъёмом. До окончания было, правда, далеко, но времени вдоволь, и, главное, дон Перальто абсолютно ясно представлял себе всё полотно, до последнего мазка, даже подпись свою видел в углу картины! А тут – убогая мазня. Да и какой ей быть! У него ж даже красок стоящих нет, у пьяницы забулдыжного! Седая, худощавая женщина, простёршая руки... И нету ни белоснежных, богато вышитых хитонов, ни свитков, ни даже нимбов. (А они, нимбы, кстати, всегда особенно хорошо удавались Маэстро! У него даже была особая метода смешения красок для них, которую он, разумеется, держал в тайне!)

И всего-то надо было плюнуть да и уйти, но тут какой-то отдалённой, непрошенной вспышкой прозрения понял дон Кристоаль, что *никогда*, никаким усердием, никакими, самыми дорогими, выписанными из Фландрии красками, ни с помощью дюжины помощников и наставников, не сможет он изобразить с такой прозрачной, безжалостной простотой и ясностью ту бездну усталости, горечи, нежности и любви, что жили в глазах, в лице, в каждой складке одежды этой женщины у придорожного столба. И что весь вдохновенный и плодливый труд его есть тщета, напудренная, нарумяненная пустопорожность, ибо нет там ни красоты, ни мысли, ни смелости, ни любви. И с сучьей, воющей тоской понял Маэстро, что уж не сможет он теперь забыть этот заклятый образ, и будет он являться пред ним всякий раз, когда он возьмётся за кисть и за краски...

* * *

– Ну хорошо, – лицо дона Кристоалья разгладилось. Он глянул на Дельгадо почти дружелюбно. – На том порешим. Понимаю, это будет нелегко сделать, но мазню твою придётся сжечь. Для твоей же пользы, Дельгадо. И для её, – небрежно, как бы мимоходом кивнул он на сникшую, почуявшую неладное Каталину. – Хочешь, я сделаю сам?

Он решительно шагнул к камину. Но каменотёс вдруг, отпихнув в сторону племянницу, кинулся ему наперерез.

– Не надо, сеньор Перальто! П-п-право слово, не надо. Я...

– Тебе её жаль, картину? – Маэстро понимающе улыбнулся. – Жалко будет смотреть, как задымится, полыхнёт холст, да? Как затрещат краски, верно?

– Верно, сеньор, – умоляюще прошептал каменотёс и протянул руку, – вы уж дайте его, пожалуйста, мне. Уж пожалуйста, сеньор...

– Тебе жаль её, – грустно улыбнулся Маэстро. – А её, – он быстро кивнул в сторону племянницы, – тебе не жаль. О люди! *O tempora, o mores!* Им жаль кусок ткани, заляпанной красками, и не жаль юное доверчивое дитя.

– Дайте его мне, сеньор, – бубнил, угрюмо насупившись, каменотёс. – Я сам... ежели уж так вам надо. Но – сам.

– А почём мне знать, что ты не сохранишь эту нечисть где-нибудь в потаённом сундучке? Нет, милейший, лучше я своими руками...

– Дайте его мне, сеньор! – вдруг побагровев, зарычал каменотёс и схватил большие каминные щипцы. – Дайте, от греха подальше, и ступайте себе вон!

Дону Кристобалю стоило немалых усилий, чтобы скрыть, скомкать, запрятать подальше подлый, потливый страх, чтобы с доброй улыбкой вернуть этот окаянный свиток, потрепать по плечу набычившегося, тяжело дышащего хозяина, дойти до двери, и уже там, почти в безопасности, изрыгнуть наконец слова, из коих «сдохнешь!» было самым доброжелательным...

* * *

Бенигно Дельгадо умер через три дня. Сперва был сильный жар, бред и лихорадка, потом на полдня ему стало лучше. Он даже поднялся, порывался одеться, отправиться к дону Кристобалу что-то там объяснить. Затем снова впал в забытё. А к воскресенью отошёл. Тихо, не просыпаясь.

Хоронил его Гравёр на свои гроши, и на похоронах было всего-то человек пять, а на поминальную трапезу и вовсе пришёл один сеньор Аройо. Сидел недолго, осушил кружку вина, долго молчал, хмуро катая по столу маслину.

– Вот что, Лобото, – сказал он, глядя в пол. – Ты... меня правильно пойми. Ты отличный работник. Десятерых стоишь. Но... В общем, придётся тебе уйти. Объяснить, почему?

Гравёр покачал головой. Аройо шумно вздохнул, некоторое время помолчал ещё, затем сказал, глядя в сторону:

– Вот ещё что. Есть у меня приятель. Он родом отсюда, но дома бывает редко. Кукольник он, понимаешь? Театр у него. По стране ездят, даже до Франции доезжают. Хочешь, иди к нему. Куклы будешь делать. Хлеб какой ни есть.

Гравёр снова покачал головой:

– Я гравёр, сеньор Аройо.

Аройо кивнул и поднялся. Однако когда он уже нахлобучивал шляпу у выхода, Гравёр произнёс с внезапной, отсутствующей улыбкой:

– Как, говорите, найти этого вашего приятеля?..

* * *

Через три дня Гравёр покинул Сарагосу с театром *El Cuentista*. Вырезал кукол из клёна и кизила, клеил, раскрашивал, сам шил им одежды, мастерил кукольную утварь. Освоил шарманку, бандуррию и узкогорлую индейскую флейту. Даже ремесло кукловода. Вот только говорить за кукол не мог, голос был тихий и скрипучий. Театрик стал набирать известность, но через полтора года хозяин помер от холеры в Галисии, имущество продали за долги, театра не стало.

Памятник на могиле Бенигно Дельгадо не простоял и недели, был разбит на куски неведомо кем. А в дом его через день после похорон ворвались какие-то люди, перерыли всё вверх дном, ушли, так, видать, и не сыскав ничего. Каталину отправили в деревню к дальней родне.

Полотно маэстро Кристобая «Чудесное видение» так и не увидело свет. Бог знает, отчего. Работу он не завершил, да и вообще поостыл к живописи, занялся торговым делом, в чём преуспел весьма.

Возвращение

В свой город Гравёр вернулся лишь через три года.

За это время он узнал, что госпожа Констанс через неделю после безвестной пропажи мужа обратилась в Управление городской стражи, сказав, что супруг её, баронет Уго Эдгар Стерн, вышел поздно вечером из дому, ничего ей не сообщив, и более домой не воротился. Однако добавила, что ночью видели его в игорном доме «Центурион». В оном заведении удалось выявить, что в тот день, за два часа до полуночи, господин Стерн впрямь появлялся, проиграл в бридж немалую сумму известному мошеннику и шулеру по прозвищу Чоло. Платить проигрыш отказался, уличив партнёра в мошенничестве, а когда тот схватился за нож, ударил по лицу, повергнув навзничь и лишив чувств, да и удалился вон. Чоло же, придя в себя, побежал вдогонку, вскоре вернулся весь в грязи и в ссадинах, но сказал, что старикашка своё получил. Чоло взяли на выезде из города, но по дороге в управу он вышиб дверцу арестантской кареты, выкатился из неё вместе со стражником и прыгнул с перил моста в канал. Его не нашли, сочли утонувшим.

* * *

Когда Гравёр подошёл к дому старика Нормана, первый, кого он увидел, была Каппа. Распахнув головою калитку, она кинулась к нему, часто, шумно дыша, взгромоздила лапы ему на плечи. Он, смеясь и неловко уворачиваясь от жаркого, влажного языка, трепал её по густому, грязному загривку, бормотал что-то своё, для чужих непонятное, но когда она вдруг, точно спохватившись, отпрянула и, высоко запрокинув голову, протяжно и по-щенячьи тонко взвыла, Гравёр всё понял.

В доме старика Нормана уже давно уверенно хозяйничал новоявленный тесть. Он хмуро поинтересовался, кто он такой и что ему надобно, затем неохотно пропустил, громко кликнув супругу. Присцилла, опасливо косясь на мужа, сообщила, что папа помер уже два месяца как, что похоронили, слава богу, как подобает доброму христианину, хотя и говорили тут про него пустые люди невесть что. «Помер легко. Утром выхожу, он на крыльчке сидит. Ну ты знаешь, он так часто сидел. Но чтоб до утра, такого не бывало. Подхожу, а он уж и остыл совсем».

Затем, почему-то понизив голос, сказала: «Папа велел передать тебе кое-что. Ежели тебе это нужно, конечно. Ежели нужно, возьми, нам оно без надобности, мы дело давно закрыли».

Зашла в дом, оставив его на пороге, погромыхала в чулане и вынесла давно знакомый Гравёру добротный дубовый, кованный медью чемоданчик с инструментами. «Нужно?» – она вперилась в него выжидающим, мышинным взглядом.

– Они, между прочим, хороших денег стоят, – вдруг вмешался её супруг, протирая о фартук руки, красные и пупырчатые, как варёные раки, – так что, ежели тебе не нужно, можешь и оставить...

– Папа мне так сказал: не поступишь с ними, как я велел, – проклятье твоему дому, – причитала дочь злым, стонущим голосом. – Вот так и сказал, колдун старый. Перед Святым распятием велел поклясться!

– Мы люди приличные, закон понимаем, – снова угрюмо влез её супруг, буравя его глазами. – И в Бога веруем. Сказано передать, мы и передаём, без обману. Но и ты уважение имей. Вот так пришёл, хватъ, и забрал, да?

Гравёр кивнул и взял чемоданчик из холодных лапок Присциллы.

– Ты осторожней по улицам-то ходи, – долдонил ему в спину голос супруга. – У нас по осени склизко на улицах-то. Башку расшибёшь, не ровён час.

Он снова кивнул и пошёл вниз по ступеням.

– Мы ведь, если что, и напомним можем про ту историю. Кой-кому. А то родня того покойничка нынче на вдову грешит. А она всё помалкивала, потому как папашу Нормана боялась, как смертного греха. А теперь, когда папаша богу душу отдал, может и разговориться. Так что ты подумай!

– Я подумаю, – ответил Гравёр, не оборачиваясь.

– Эй, парень, – крикнула вдруг ему вслед Присцилла. – Ты не заберёшь ли с собой эту чёртову псину? Житья уже нету от неё, окаянной. Давеча Барту, мужу моему, ступню прокусила. Два дня, считай, лежал. А дело стояло. Не возьмёшь, в живодёрню сведём, нам эта уродина не надобна, мы люди серьёзные. Заберёшь?

– Как найти могилу Хозяина? – спросил Гравёр, кривясь от её пронзительного голоса.

– Как найти. Да очень просто найти. Вторые ворота, те, что возле мыловарни Каспера. Там недалеко. Да спроси у сторожа, он скажет. Там памятник есть. Папаша его сам смастерил, как хворать начал... Так берёшь псину-то?

– Беру, – ответил Гравёр и, не оборачиваясь, сбежал с крыльца.

Каппа, едва дождавшись, сорвалась с места и ринулась за ним, путаясь у него под ногами и радостно урча и стуча вздыбленным хвостом о его колени.

– Ишь, забегала, сука старая, – обрадованно и зло заверещала вслед дочь старика Нормана.

– Да сама ты... – сказал вполголоса Гравёр.

Каппа отрывистым лаем дополнила недосказанное.

* * *

Каппа вывела на могилу сама. Она располагалась между воротами и часовней. Крепкий, трапецевидный памятник серого гранита. Надпись классическим римским капителем с восхижительной небрежностью мастера:

Man is just a speck
in the Eye of the Lord

Persival Lloyd Vernon⁴

Гравёр долго, улыбаясь, водил пальцем по граням высеченных букв, беззвучно шевеля губами, задавая нескончаемые вопросы мастеру, и камень отвечал ему его голосом. Текли слёзы, но на душе было светло.

* * *

У кладбищенских ворот грудилась стайка нищих. Впрочем, для нищих они выглядели упитанно и добротнo. Среди них Гравёр без особого удивления признал Барта, мужа Присциллы. Он был пунцов от вина, суетлив. Шагнул навстречу, но Каппа отозвалась таким злобным, хрипящим рыком, что он остановился.

– Эй, прибудыш! Так мы насчёт чемоданчика недоговорили. Где он у тебя, кстати? Мне тут знающие люди сказали, что там инструменты, которые сумасшедших денег стоят. Я ж знать

⁴ Человек есть лишь соринка в глазу Господа. Персиваль Ллойд Вернон.

про то не знал. Ну баба, положим, дура, но я-то не дурак, слава богу. Давай так: ты мне чемоданчик, и лети себе вольной птахой. Так где он у тебя, чемоданчик-то?

– А здесь, – усмехнулся Гравёр. – В котомочке. Я её развяжу, а ты покудова Каппу поддержи. Ну?

Он сделал вид, что хочет выпустить из рук ошейник, утробно ревушей и рвущейся твари. Барт отскочил с завидным проворством.

– Погоди-ка, – коренастый человек с тяжёлой квадратной челюстью, в старой заношенной солдатской блузе и шароварах, вправленных в сапоги, бесцеремонно отпихнул Барта в сторону.

– А ну-ка давай, отпусти своего кабыздоха! Я с ними быстро управляюсь, не привыкать. Тявкнуть не успеет, а уж я ей глотку сломаю.

Он улыбался, вертя в руках ременную плётку. Хотел сказать ещё что-то, но осёкся, встретившись взглядом с сузившимися волчьими глазами Гравёра.

– Что ощерился, страхолюдина?! Думаешь, я тебя боюсь? – выкрикнул он плаксивым фальцетом. – Я не таких об колени ломал!

Однако, постояв немного в воинственной раскорячке, вдруг стих, сник и угрюмо отошёл, уступив дорогу Гравёру и Каппе.

Гравёр успокоил Каппу, потрепав её меж ушей, поправил котомку и, не глядя более на растерянно галдящих людей, зашагал прочь.

* * *

– Эй, парень!

Барт быстро шагал за ним, жестами предлагая остановиться.

– Ну?

– Погоди, давай мирно поговорим. Слушай, парень, я ведь не шутки сюда пришёл шутить. Я человек приличный и закон уважаю. Не то что эти. Ну в общем, если мы с тобой полюбовно не договариваемся, я иду напрямик в Городскую управу и рассказываю, что да как было. И как ты думаешь, сколько мне отвалит родня того баронета, которая осталась с носом после его смерти, если я вместе с тобой спроважу в тюрьму её величества также и шлюху Констанс? Я дорого не возьму, но и продешевить не хочу. Думай и не торопись так.

Гравёр покачал головой и сплюнул под ноги.

– Это ты торопишься, а не я. Потому что пока ты добежишь, да всё растолкуешь, меня уж и в городе не будет. А найти меня дело непростое. У меня ж дома нет. Это раз. Потом, с Констанс тебе не совладать, уж мне поверь. Да и дело давно забытое. Это два. Ну и третье. Ежели всё будет по-твоему, то в тюрьму в первую очередь пойдёт твоя жена Присцилла. А оно тебе надо?

– А отчего ж нет? – хохотнул Барт. – Закон он ведь есть закон. Для всех писан. Она пойдёт в тюрьму, дом и дело ко мне перейдут. Я тут давно уж красотку пухлую приглядел. Ребёночка уже ждёт от меня. Наследничком моим будет. Присцилла же бесплодна, как сухая головёшка. Так как, договоримся?

– Договоримся, – Гравёр снова сплюнул под ноги. Увещевающе потрепал по загривку Каппу, полез в котомку, повозился там и вытащил завернутый в бархотку медальон Констанс. – Ну?

Развернув, Барт издал странный сипловатый звук, схожий с икотой, переменялся в лице и тотчас, воровато обернувшись на своих товарищей, быстро и судорожно запихнул медальон куда-то за ворот.

– Так как? Пойдёт? Если нет, так давай назад. Ничего другого не предложу. Пойдёт?!

– Да пойдёт, ясно дело! – лицо Барта распырало от радости. – Только... да ладно, чего уж там.

Гравёр сплюнул третий раз, затянул котомку, перекинул её через плечо и зашагал прочь. Однако затем обернулся и произнёс отдельно:

– Мы квиты, Барт. Ты запомни это. И знай, если с Присциллой и Констанс что-то всё же случится, я тебя найду везде. Запомнил?

– Как не запомнить, – ослабился Барт ему вслед. – Ты, гляжу, серьёзный. Только ты скажи, что тебе Присцилла-то? Ну Констанс – сисястая, понимаю. А уж Присцилла-то. Страшней смертного греха. Неужто запал?

Голос Барта заскворчал, как шматок сала на сковороде. А лицо расплылось в дрянной улыбке.

– Она – дочь старика Нормана, – бросил Гравёр, не обернувшись.

Дороти

Гравёр вернулся к Ремеслу. Вернее, оно само пробудилось в нём от летаргии, вновь расворилось в крови жаркой пригоршней соли.

Рисунок рождался практически мгновенно. Едва явившись в тёмных извивах воображения и обретя ясные очертания, он тотчас отсвечивался пульсирующей проекцией в глубине металла, камня, дерева, делая их теплее плоти, податливей глины и прозрачнее воды. Гравёр терпеливо и упоённо счищал ненужную скорлупу, всё, что мешало увидеть, наконец, его воочию, вживую, встретиться с ним кончиком пальца.

Инструменты старика Нормана стали словно частью его тела, его мозга, его духа, он сжился с ними, относился к ним, как к живым существам, у них даже были свои прозвища. К примеру, паяльная лампа звалась Жужелицей, круглый надфиль – Занозой, а сам чемоданчик – хижинкой Нормана.

Он снимал две комнатки в доходном доме вдовы окружного судьи госпожи Хогарт. Немалое состояние (плюс к доходному дому ещё и лавка колониальных товаров) не мешало почтенной вдове исправно его обворовывать, причём с непосредственностью ребёнка. Прознав, где Гравёр хранит выручку, она без затей заходила в нему в его отсутствие и брала сколько ей вздумается, благо Гравёр, впечатлённый её набожностью, на неё мог подумать менее всего. Когда же он, вконец озадаченный, перепрятал железную шкатулку, разъярённая мадам перевернула вверх дном всё его жильё и гневно потребовала уплаты за два месяца вперёд.

* * *

Прошло чуть больше года. Барта, мужа Присциллы, нашли мёртвым в старом полуобвалившемся сарайчике возле самого дома. Руки у него были повязаны пеньковым жгутом, раскроен череп и вспорот живот. Думали поначалу на его многочисленных приятелей – впрямь, водился он в последнее время со всякого рода сбродом, – да больно уж по-зверски всё вышло, те бы так не стали. Решили, что, верней всего, это дело рук Чоло, того самого Чоло, мошенника из «Центуриона». Вовсе он не утонул тогда в канале, как думали. Пропадал четыре года и вернулся в город. Да только дело у него было уже не картёжное, а куда как пострашней. Четыре покойника было за ним, это уж точно. Из них трое женщин. Кстати, через неделю после похорон Барта дом их был ограблен, всё было перевёрнуто вверх дном, пропало, считай, всё ценное. Сам Бог, видать, уберёт тогда Присциллу: гостила она в тот день у двоюродной сестры в деревне. Потому как дело это было, как все были убеждены, опять же того самого Чоло. Искали его. Окружной шериф назначил немалую награду за поимку, да больно хитёр и изворотлив был этот проклятый Чоло. Умел в самый нужный момент затаиться, лечь на дно. А вскоре снова бесследно пропал из города.

У Гравёра тогда дела пошли в гору – мастеров, стоящих, в округе после смерти Старика Нормана не оставалось. Он выкупил дом у Присциллы – правда, пришлось взять изрядную ссуду у ростовщика. Саму её поселил в домике, огороженном каменным заборчиком с палисадником, через улицу. Она хоть и была довольна в душе, но соседкам жаловалась, что Гравёр обвёл её вокруг пальца.

* * *

История эта приключилась поздней осенью. Тогда вдруг задули сильные продувные ветра с Северного моря и повалил слепой, водянисто-серый, словно изголодавшийся по земле снег.

Вечером в дверь постучали. Каппа, однако, не залаяла по обыкновению, а лишь вопросительно приподняла ухо. Гравёр, как всегда, не спрашивая, распахнул дверь настежь. На облепленном снегом пороге стояла незнакомая женщина. Она, словно не замечая его, долго, сосредоточенно и осторожно отряхивала с себя снег, и лишь потом взглянула на него.

У неё было желтовато-серое, неимоверно худое лицо. И очень подвижное. Как мелкая рябь на воде, его поминутно искажали гримасы, и непонятно было, не то она сейчас разрыдается, не то рассмеётся, не то бросится на шею, не то вытащит нож. На ней был высокий, явно большего размера капор, поношенный жакет и длинная юбка из сукна. Вдобавок была обмотана вокруг талии не то пледом, не то платком.

– Что вам будет угодно, сударыня?

По лицу женщины вновь пробежала рябь, она словно выбирала подходящую гримасу. Остановилась наконец на надломленной, виноватой улыбке.

– Мне было бы угодно... зайти сейчас к вам, – шагнула, чтобы пройти. Гравёр, однако, не посторонился.

– Простите, но... вы меня знаете?

– Не знаю. Потому и хочу зайти, что понятия о вас не имею. И вы обо мне не имеете. Иначе б не зашла.

– Время позднее, сударыня, и я не расположен шутить.

– Вот уж кому сегодня не до шуток, так это мне.

Сказав это, женщина размотала наконец свой многослойный плат и явила миру изрядно выпуклый живот.

– Если вы снова спросите, что мне угодно, я отвечу: родить. Да, именно здесь, у вас. Почему у вас? Потому что мне больше нигде, понимаете наконец? Можете не верить, можете посмеяться, но меня как будто Бог сюда привёл. Да. Вот взял за ручку да и привёл. И если вы скажете: «Пошла-ка ты вон», я уйду, но это будет значить, что Бога нет, и будь всё проклято.

– Но я едва ли смогу помочь, – пробормотал Гравёр, невольно посторонившись и пропуская её в дом.

– Да сохрани Бог! Не надо мне помогать. Побольше чистых тряпок, кувшин горячей воды, да нож поострей. Хотя... если сыщется поблизости какая ни есть дамочка зрелых лет, было бы неплохо... Ох... Вы уж поторопитесь, господин хороший, а то... Ох! Да беги же ты, чёрт тебя возьми!!!

Как раз в этот момент в дверь постучал мальчишка-посыльный, который привёз на тележке мешок древесного угля. Путаясь и судорожно жестикулируя, Гравёр велел ему сначала разжечь камин, потом, оттолкнув перепуганного мальчишку от камина, приказал бежать за Присциллой. «Но, господин, – пролепетал малец, – мне нельзя никак. Мне хозяин...» – «Беги скорее...!!!» – заорал Гравёр, да так, что мальчика едва не сдуло с места.

Когда посыльный привёл наконец сонную и раздражённую Присциллу, крику и суеты стало ещё больше. Мальчик очумело метался между ними, начисто забыв и о хозяине, и о всех

его поручениях. Присцилла кляла последними словами и Гравёра, и мальчишку, и роженицу, а более всего свою злополучную судьбу, которая вечно сталкивает её с олухами.

Схватки на какое-то время прекратились.

– Эй, красавчик, – подала голос женщина. – Подойди-ка сюда.

– Вы это мне?

– Кому ж ещё, господи!

Голос у неё был прерывистый, задушенный, речь ей давалась с трудом. Гравёр подошёл ближе и присел на обитый войлоком табурет. Лицо женщины было мокрым от пота, рот широко раскрыт, глаза бессмысленно вытаращены, зрачки закатились, она дышала тяжело, с глубинными всхрипами. Увидев его искоса, она, однако, криво усмехнулась, послышалось даже сипловатое подобие смешка.

– Да ты впрямь красавчик, парень. Это кто ж тебя так?

Гравёра передёрнуло от невольного воспоминания.

– Не видал, кто, – ответил он, не удержался и усмехнулся.

– Так бывает?

– Бывает всяко. Не понимаю, зачем вы у меня это спрашиваете?

– Сама не знаю. У меня маловато времени. Слушай, а тебя звать-то как?

– Меня редко зовут по имени. Хочешь назвать – зови Гравёр.

– Хорошо, Гравёр. Я вот что сказать-то хотела. Если что-то случится со мной – ну мало ли! Так вот, ежели что случится, мальчика назовёте Иден. Самое подходящее для него имя. Ну а коли девочка родится, так пусть будет Дороти.

– А что может случиться?

– Сам же сказал – бывает всяко. И ещё. Никому не говори про меня, ладно? Никому. Отродясь ты меня не видывал. Ребёнка можешь сдать в приют, коли уж так придётся. Только соври что-нибудь. Бог простит. Он и не такое прощает. Человечек ты одинокий, куда тебе вошкаться с чужим дитём! Но про меня – никому – ни слова! Потому что худо будет и ему, и тебе. Я правду говорю... Самое смешное, я всегда говорю правду, а мне не верят. Приходится врать... А будут спрашивать – скажи, что подбросили на порог. Выхожу, мол, а оно и лежит... Я должна была вытравить этот плод, понимаешь? Я поклялась, а куда было деваться? На Святом распятии поклялась. Человек, который держал Распятие в руках, шутить не станет. Вот так! Поклялась Иисусу убить в утробе своё дитя! И получается, что Спаситель принял мою клятву. Так вот, он-то принял, а я – передумала.

– Ну а если всё обойдётся, куда пойдёшь?

– А не решила пока. Не могу всё зараз решать. Выживу – подумаю. Не выживу, так и думать не надобно. Пусть Господь подумает, он добрый. А сейчас – поди, позови ту бабку. Злая она. Это хорошо. Жалостливым верить нельзя. Жалостливые сегодня пожалеют, завтра продадут. А злая или уж на порог не пустит, но если пустит, то уж не продаст. Иди, говорю, скорее, кажется, началось.

* * *

Через час женщина родила девочку. Молока у неё не было, и Присцилла дала младенцу козьего молока. Роженице налила аперитива с тем же козьим молоком. Та, выпив, попросила ещё, однако не дождалась и уснула.

А утром она исчезла. От неё остался лишь дешёвый кустарный медальон с прядью русых волос и скверной литографией, на коей была изображена женщина, отдалённо напоминавшая владелицу медальона, с неестественно румяным лицом и роскошными кудрями.

– Ты ведь не сдашь Дороти в приют? – спросила Присцилла, сверля его глазами. Она сидела на скамье, покачивая и прижимая к себе плачущую девочку.

– Но...

– Только попробуй избавиться от неё. Я тебе глаза выцарапаю, если только посмеешь, чёртов урод!

– Я хотел сказать – по-моему, вы делаете ей больно. И ещё...

– Это я делаю ей больно?! – свирепо вскинулась Присцилла и тотчас сникла. – Пусть уж она со мной останется. Никто не узнает, Богом клянусь. С мальчишкой посыльным я переговорю...

* * *

Через неделю в дом пожаловал хорошо одетый господин в длиннополом, отороченном мехом плаще с массивной серебряной застёжкой возле шеи, в широкой шляпе из синего фетра, в высоких ботфортах и с изящной палисандровой тростью. Лицо же господина, в противоположность одежде, было лишено и тени благородства и напоминало бульжную мостовую. Он снял шляпу и небрежно сунул её Гравёру.

– Поди позови хозяина.

– Я хозяин, – ответил невозмутимо Гравёр и повесил шляпу на крюк.

– Ты? – незваный гость глумливо хохотнул. – Ну ты, так ты. Тем лучше. Скажи-ка, любезный, а не появлялась ли в доме, или где поблизости, некая дама по имени Гризелла Фирлинг? Только врать не вздумай.

– С чего бы мне врать, господин хороший? Однако, право же, отродясь такого имени не слыхивали. Гризелла...

– Она могла назваться как угодно. Хоть Марией Магдалиной. Одета так себе. И главное... – гость многозначительно скрестил ладони возле живота. – Понял?

– А чего не понять. Толстуха, что ли? Толстух у нас тут в округе не счесть. Может, и Гризелла среди них есть.

– Брюхатая она, дурак! – раздражённо возвысил голос гость. – Беременная. Не понял ещё?

– Как не понять. Да только я никакой вам не дурак. Хоть кого спросите. И не видали мы тут никаких брюхатых Гризелл.

Гость презрительно фыркнул и пристально огляделся.

– Там кто-нибудь есть? – он указал тростью наверх.

– Может, кто и есть, господин хороший. Да только вам-то к чему это знать?

– А ну дай я гляну! – он хотел бесцеремонно отстранить Гравёра в сторону, однако тот непоколебимо остался на месте.

– Нечего вам там смотреть, господин хороший. Я ведь, слава богу, у себя дома. И вам бы пора. Домой. Темно на дворе.

– Я буду делать то, что сочту нужным, – лицо гостя покрылось пятнами. Он толкнул Гравёра пятернёю в грудь, перехватил поудобнее трость, даже замахнулся, однако наткнулся взглядом на полыхнувшие по-волчьи зрачки Гравёра.

– Да! Будете делать. Как сочтёте нужным. Покудова не полетите с лесенки, милостивый государь. Вы б не доводили до греха.

Гость опешил, отступил на шаг.

– Ну ты, братец, и дурак, – сказал он медленно, даже с оттенком сожаления в голосе. – Знал бы, во что ввязался. Объяснил бы тебе, да ведь не поймёшь. Я – что. Мне что скажут, то сделаю. Должность моя такая. А ты себе жизнь подпортил. И это – в самом наилучшем случае.

– Шляпу не позабудьте, почтеннейший, – кивнул в ответ Гравёр.

* * *

– Плохо наше дело, сдаётся мне, – шёпотом сказала Присцилла, спустившись по лестнице. – Чует моё сердце.

– Боюсь, что да, – хмуро кивнул Гравёр, задёргивая шторы на окнах. – Он услышал детский плач. Вам бы в деревню перебраться, госпожа Присцилла...

Чоло

Через несколько дней что-то случилось с Каппой. Она почти ослепла, её колотила дрожь, есть перестала совсем, дышала тяжело и сдавленно, словно заглывала воздух и схаркивала его. Сосед-кожевник, который промышлял также и как собачий лекарь, оттянул ей веко, заглянул в пасть, спросил, сколько ей годов и, узнав, что уж точно много больше десяти, сказал, что, верней всего, пристала к ней хворь, именуемая «псиной трясушкой», что жить ей осталось не более двух недель, и что лучше б ей дать «сонного порошку», чтоб отошла быстро и тихо, других не мучая...

* * *

Прошла ещё неделя. Уже смеркалось, когда в дверь раздался осторожный стук. Такой, будто стучали подушечками пальцев. Гравёр сторожно оттянул штору и глянул в окошечко, на пороге, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, стоял тот самый мальчишка-посыльный.

– Тут вам... посылка, – он глядел как-то странно: неподвижно, будто спал на ходу. – Ну вроде того. Передать велели. Ну вот я и...

– Ну и где она? – спросил Гравёр, отворив дверь, вернее, хотел спросить, ибо произошло нечто странное: мальчишка вдруг пропал, вместо него возникло что-то тёмно-серое, он не успел ничего сделать, потому что тяжкий, ослепляющий удар в переносье отбросил его назад, затем второй удар чем-то невыносимо тяжёлым поверг его на пол и лишил чувств. «Поди прочь, дальше я сам», – уловил он уголком угасающего сознания.

* * *

Когда Гравёр пришел в себя, он обнаружил, что привязан локтями к ножке стола, что веки у него склеились от запёкшейся крови, что по комнате, насвистывая, бродит человек в серой куртке до колен и нахлобученной на самые брови шляпе. Он попробовал шевельнуться, человек тотчас оборотился к нему.

– А, ты не сдох. Оно и лучше. Нам есть о чём потолковать, Гравёр.

Голос, шепелявый и высокий, показался ему невыносимо знакомым.

– Ты меня слышишь? В общем, так. Солидный человек попросил меня спалить твой дом вместе со всеми жильцами. Так бывает иногда. Но в доме кроме тебя и полудохлой псины никого нет. Ни бабки, ни выродка. А собственно, он-то и был нужен. Не от того папаши родился, вот в чём его беда. И твоя тоже. Но есть ещё одно дело, о котором никто, кроме тебя и меня не знает. Мне нужен нож.

– Какой именно нож? – Гравёр говорил, с трудом ворочая разбитыми губами. – У меня их много.

– Не придуривайся, уродец. Тот самый кинжал рыжего Уго, которого ты прикончил.

Гравёр меж тем всё пытался вспомнить, где он слышал этот голос и видел это лицо. Рыжее, конопатое, безбровое. Толстая верхняя губа карнизом нависала над подбородком.

– Запомни, Чоло живых не оставляет. Нету резона живых оставлять, одни хлопоты потом. Но тебя оставлю. Но мне нужен кинжал Уго Стерна. Ты его пришил, а меня за него хотели вздёрнуть. Неплохо, правда? Ты – свободный, уважаемый человек, а я прятался от всех, как крыса в выгребных ямах. Но я тебя прощу, как Господь заповедовал. Дам шанс выжить. Ежели ты скажешь, где он, этот чёртов кинжал. Ну!

Тут он выставил вперёд короткую, четырёхпалую ладонь, и Гравёр наконец узнал его.

– Так это ты, Макрель! Ты говори внятнее, я что-то не пойму, – Гравёр издевательски рассмеялся. – Кстати, ты шепелявишь с тех самых пор, как я разбил тебе твой гнилой рот?

Хлёткий, цепкий удар (он успел заметить кастет) едва вновь не лишил его сознания.

– Узнал, уродец? Ну так чудно. Так продолжим.

– С чего ты решил, что это я его прикончил? – Гравёр, кривясь, выплюнул окровавленный зуб. – С чего ты решил, что его вообще пришили?

– Да мне плевать, кто его прикончил! Я и сам хотел его тогда, да не вышло. Но я обшарил весь его дом, а ножика не нашёл. Говорил по душам с его вдовушкой. Знать не знает ни о каком кинжале. Уж я бы выведал.

– Что ты с ней сделал, мразь поганая?!

– Зря грубишь, Гравёр. У меня может лопнуть терпение. Что я с ней сделал? Да то же, что со всеми. Чоло живых не оставляет. Говорю же – хлопот потом с ними, живыми, не оберёшься.

– Это ты убил Барта?

– Это кого? Того красномордого? Я, кто ж ещё. И всё по той же причине. Ну нужен мне позарез этот твой кинжал! Слышал я про него кое-что. Ну и завёлся. Сошёлся с этим, Бартом. Он пообещал разузнать. Я ему заплатил. А потом мне показалось, будто он темнит. Ну рожа у него такая. Я с ним поговорил плотно. Потом понял, что не знает он ни черта, однако пришлось с ним заканчивать. Не оставлять же его одного связанным, люди не поймут. Залез в его дом, и там его нету. И бабы его, как назло, не было. Да, кстати, ещё меня чертовски интересует твоя штучка, которой ты пишешь на алмазе. Добрые люди готовы выложить за неё кучу бабла. Говори-ка скорее, урод, пока я не запалил паяльную лампу.

– Какой смысл мне говорить? – Гравёр криво усмехнулся. – Я слышал, Чоло свидетелей не оставляет.

– Может, и не оставляет, сморчок. Но только ведь и смерть бывает разной. Бывает лёгкая. А бывает – не очень. И потом ведь смерть всего не заканчивает. Ежели мы с тобой не договоримся, я найду эту чёртову образину, жену Барта, и выну из неё матку. А выродка...

– Смерть бывает одна, Макрель, и ты, подонок, скоро в этом удостоверись.

– Ого! Ты мне как будто бы угрожаешь? Зря. Я своего всё равно добыю.

Макрель подбросил на ладони кастет, подошёл ближе, чтобы вновь ударить, и тогда Гравёр, страшно закричав, подбросил всё своё выгнувшееся в дугу тело вверх и ударил его обеими ногами в низ живота. Тот, по-утиному крякнув, отлетел к двери и, ударившись о косяк затылком, обмяк, стал сползать на пол. Дверь от удара распахнулась настежь. Гравёр рванулся к нему, увлекая за собой тяжёлый дубовый стол, но Макрель успел откатиться в сторону. Он перевалился на четвереньки всё так же кряхтя и одурело трясая головой. Рука его полезла за пояс. Он наконец непослушными пальцами, боязливо косясь на Гравёра, вытащил складной испанский нож-наваху. Начал было что-то говорить, но удивлённо замер, услышав смех. Спокойный и даже беззаботный.

– Эй, уродец, куда это ты так утаился? Что ты там увидел?

– Смерть, Чоло! Вот что я увидел. Ты хотел её видеть? Она позади тебя!

И в этот момент в открытую дверь буквально влетел огромный, яростно урчащий клубок, который всей осатаневшей от ненависти массой накрыл пронзительно закричавшего Чоло...

* * *

Лишь через час Гравёр сумел освободиться. Он чудом зубами открыл наваху, кровавая ладони, перерезал верёвку.

Человек и собака – оба были мертвы.

Возможно, Каппа прожила б ещё две-три недели. Возможно, даже полгода. Бог весть. Но в тот отчаянный, бешеный прыжок, в те несколько стиснутых мгновений, она без колебаний вложила все те тягучие дни и недели угасания.

А Макрель – он испустил дух ещё до того, как на его шее сомкнулись беззубые челюсти Каппы. От парализующего, животного ужаса.

Вечером Гравёр, плача навзрыд и бессмысленно ругаясь, долбил киркой мёрзлую каменную землю.

Потом он, присев на корточки, гладил перепачканной кровью ладонью оледеневшие комья глины и молился Богу, сбивчиво, горячо и коряво, тому, своему, единственному Богу, которого понимал, и который единственно понимал его, слёзно прося принять достойно чистую, неприкаянную душу Каппы.

Эпилог

Жёлто-багровые отблески огня плясали на его изрытых рубцами скулах, подсвечивали кошачьим блеском зрачки, когда он стоял недвижно перед пылающим домом. Домом старика Нормана, его домом. Его подожгли ночью, плотно подперев кочергою дверь. Подожгли грамотно, с трёх сторон. Сильный порывистый ветер дело довершил. Гравёр выскочил из окна второго этажа, успев вслепую, задыхаясь от дыма, спасти лишь чемоданчик Нормана да холщовую котомку с кинжалом.

Как заворожённый, даже с какой-то блуждающей улыбкой смотрел он на пышные соцветия искр, оскаленные, раскалённые доски и брёвна. Смотрел, как, салютуя петардами, треском и адским шумом, уходила – целиком и безвозвратно – вся его прошлая жизнь.

У него не было времени на долгое прощание с прошлым. Надо было уходить: возле пожара, как водится, уже начал роиться народ, и ему вовсе не нужно было, чтоб кто-то обратил внимание на стоящего почти в исподнем под холодным декабрьским дождём и штормовым ветром человека, да ещё с подпалёнными волосами и перемазанным сажей лицом...

«Тупик – это отличный повод начать всё с начала», – вспомнились ему слова старика Нормана. Вероятно, так. Да. Этот дом был слишком хорош, чтоб возможно было надеяться прожить в нём до скончания века. А теперь? Дома нет. Нет Каппы, дом Присциллы продан в спешке за бесценно. Ехать туда, к ней – опасно. Оставалось уезжать из города. Навсегда.

* * *

А потом были скитания. И не было им конца. Сосущая жажда Ремесла в обмен на бесприютность и бездомность одарила мгновенной, рельефной, многомерной памятью, цепким глазом лучника, неутомимостью, способностью спать по два часа в сутки. Он брался за любую работу и никогда не торговался. Не от бескорыстия. Скорее, от равнодушия. Он почти никогда не жил на одном месте свыше одного месяца – всё та же нестерпимая жажда Ремесла всякий раз гнала его с едва насиженного места, маня соблазнами новых знаний.

В родном городе более не появлялся, но несколько раз бывал в дальнем его предместье, где жили Присцилла и Дороти. Отдавал им всё, что было нажито, и вновь уходил прочь, опустошённый и свободный.

Он бывал вхож в самые высокие дома, однако про прошествии времени никто не мог вспомнить его, да и не стремился. Состоятельные заказчики, получив заказ, старались поскорее забыть его, как наваждение. Пронзительный, хотя и невозмутимый взгляд, отсутствие даже подобия почтительности, искажённое зигзагом уродства лицо – немногие могли вынести.

Сказывают, это именно он выгравировал для папы Урбана VIII на огромном оливковом хризолите полный текст *Pater Noster*. Папа, говорят, был в восторге. Это, однако, не уберегло Гравёра года два спустя от суда инквизиции. Кто-то донёс, будто он самолично вырезал на ониксовой меноре чеканной еврейской вязью стих из Талмуда для Антверпенского раввина. Причём стих будто бы с хулою на Господа нашего Иисуса Христа! Раввин благополучно откупился, хоть и не задёшево, на Гравёра же надели кандалы, хоть он воистину не ведал, что писал.

Спасло же его, как ни странно, неожиданное и настойчивое заступничество вдовы старшего брата бургомистра Антверпена Гризеллы ван Клеве, урождённой Фирлинг.

Бог весть что подвигло эту состоятельную и знатную женщину, ведущую замкнутый, почти затворнический образ жизни, заступиться за безродного чужеземца. Разное говорили. Однако ж после изрядных мытарств и немалых трат всё же вытащила Гравёра из подвалов Святого трибунала, пожелтевшего, тощего, с отросшей бородой, со шрамами на запястьях. У него дёргалась щека, и веко было красное и вспухшее, что делало его похожим на гнома, – злого и смешного.

В доме вдовы ван Клеве он провёл около двух месяцев. Неведомо, правда, в качестве кого. В добродетельности вдовы никто не сомневался, да и вид у гостя был таков, что заподозрить что-либо безнравственное было немислимо. Однако же странно. Так никто и не узнал, о чём могли вести долгие разговоры эти два человека, шагнувшие, казалось, из двух разных миров.

* * *

Через семь лет после ухода Гравёра из города умерла Присцилла. Сорока восьми лет от роду. Сестра её двоюродная хоть и пообещала при священнике не оставлять Дороти, поспешно отдала семилетнюю девочку в приют Святой Варвары. Скудным же сбережениям Присциллы нашлось вполне подходящее применение для дома её сестрицы.

Из приюта девочку, однако, вскорости забрала знатная, судя по всему, вдова из Фландрии. Говорила она мало, однако вполне чисто, будто и не фламандка вовсе. А лицо своё вообще не открывала, так и ходила с траурной вуалью подле лица. Оно понятно – вдова. Все удивились тогда, дама из высшего света, а к замарашке Дороти привязалась, всё равно как к родной дочке. Просто от себя её не отпускала. И матушке настоятельнице пожертвовала двести флоринов на нужды приюта и на помин души усопшей Присциллы...

* * *

Гравёр умер в пятьдесят три года. Умер на постоялом дворе. Вышел по обыкновению вечером, перед сном, на крыльцо выпить кружку портера и выкурить трубочку, да так и остался до утра, прислонившись затылком к стене с недопитой кружкой на ступени и холодной трубкою в руке. И лицо у него было счастливое, да, вообразите, пожалуйста, именно счастливое, будто отыскал он наконец то, что искал всю жизнь, да и помер, счастье обретя...

Имущество его нехитрое забрала его недавняя сожительница. Чемоданчик с инструментами прибрал хозяин постоялого двора в счёт долга.

А вот кинжал – пропал. Начисто, вообразите, пропал, будто и не было его.

Он, правда, выплыл столетие спустя где-то на заснеженных просторах дикой Московии, да только это уже другая история, которую, даст Бог, и расскажем, а эта, благодаренье Богу, – подошла к концу.

Агасфер

...за чьи, неведомо, но тяжкие грехи...

Ю. Левитанский

* * *

...Солнце словно сплющилось с полюсов и превратилось в головокружительно вертящийся полыхающий диск. Небо истлело и выродилось в мёртвую угарную массу. Воздух проникал в лёгкие, но лишь иссушал их.

В какой-то миг ему показалось, что он сошёл с ума: он совсем не знал, куда и зачем идёт. Хотел остановиться, дабы вспомнить и обдумать, но не мог, хотел свернуть за угол, но опять же не мог – кто-то словно толкал его в спину, и он сворачивал лишь тогда, когда ему приказывал его незримый, глумливый поводырь. Иногда кто-то окликал его, он понимал, что кличут именно его, но не оборачивался и через мгновение забывал. И самое главное, он с каждым шагом отдалялся от мира устоявшихся предметов и понятий в пугающий тоской и бесприютностью хаос. Ощущал себя уже не человеком, а некоей безволосой тварью, лишённой разума и сердца.

На мгновение сознание словно прояснилось: на углу, возле гончарной мастерской, его едва не сбил с ног человек, худой как щепка, жилистый, с многодневной щетиной, мокрым подбородком и выпученными, воспалёнными глазами сумасшедшего. Он глянул на него, словно стараясь запомнить, затем зло ощерился, толкнул в грудь растопыренными ладонями, бросился бежать дальше. Однако, не пробежав и нескольких шагов, остановился и глядя на него с непонятным ожесточением, ткнул пальцем в его сторону и что-то выкрикнул сорванным голосом. «Ты! Я тебе говорю. Иди... Иди туда!» – услышал он наконец. Выкрикнув это, незнакомец вдруг, точно спохватившись, подпрыгнул и помчался дальше, бессвязно крича.

– Это ж вы поглядите на счастливица! – услышал он женский голос прямо возле себя. – А вот почему такое счастье, скажите мне? Да ещё в такой день. А ещё говорят, в Пасху Господь помогает праведникам. Ха! И сыскали ведь праведника. Бар-Абба!

Он смутно припомнил, что это тётюшка Тала, жена владельца овощной лавки, что возле Дамасских ворот. И тогда он вдруг схватил её за руку, словно именно в ней, грузной, вечно прихрамывающей, разговаривающей с сиплой, насморочной одышкой тётюшке Тале – единственное его спасение. Отчего – он сам не ведал.

– Что ты хочешь? – тётюшка Тала опасливо отстранилась и вырвала руку. – Ты не мозги ль себе испёк на солнце?

– Тётя Тала, во имя Господа единого, скажите... – Он замолк, точно споткнувшись, потому что не знал: а что именно он хотел бы услышать от тётюшки Талы, – скажите, – он спохватился, увидев, что тётюшка Тала раздражённо нахмурилась, явно намереваясь уйти, – скажите, а... кто был тот человек? Ну вы ещё назвали его Бар...

– Бар-Абба? Тебе-таки-позарез надо знать Бар-Аббу? Не думаю, что тебе это пойдёт на пользу, детка. Бар-Абба – это вор и убийца, чтоб ты знал. Да ещё контрабандист и фальшивомонетчик. Правда, неплохо для праведника? Его как раз сегодня должны были казнить, и поделом бы ему, прости меня, Господи! Но добрые наши горожане-таки решили его помиловать! Ха, вы только подумайте! Хороша доброта! Им непременно понадобилось отправить на смерть того замухрышку с севера. Ты его видел? Я тебя спрашиваю! Нет? Зато я видела. Он же пташки не обидел за всю жизнь, я это чую печёночкой, а его – на этот нечестивый крест, сохрани Господи! Как говорил мой дядя Зейра, ежели толпа одержима сделать добро, не ста-

новись на её пути – костей не соберёшь. И ведь добились своего добрые люди. Поди теперь, полюбуйся. Или я, старая дура, ничего не понимаю, или мир опять сошёл с ума... Стой, – глаза её недоверчиво сузились, – а отчего тебе надо знать об этом? Ты не из тех ли, кто ходил толпой за тем галилеянином?

– Нет, – с усилием ответил он, ибо слова затвердели и растрескались, как глина на солнцепёке. – Просто этот Бар-Абба, или как его звать, так посмотрел на меня, будто... будто я знал что-то, чего только он да я знаем. И ещё он сказал: «Иди туда», и указал в сторону Львиных ворот...

– А, ну так иди, коли сказал! А я вообще ничего не знаю, ибо какого мне пса это знать? – Тут лицо тётюшки Талы скорчилось, словно разом ссохлось изнутри. Она отчуждённо отстранилась и заковыляла вперевалку в сторону Нижнего города.

И тогда снова грянул в ушах стихший было тоскливый, безостановочный гул безумия. Сумбурная мешанина голосов, в которой особенно мучительно выделялся один – беспощадно пронзительный, злой и властный, он вгрызался в его сознание, как червь в яблоко. Это были даже не конкретные слова, а выкрики, которые при всей бессмысленности выстраивались в совокупности в некую беспощадную цепочку, одновременно сковывающую и погоняющую.

Мощёная розоватым булыжником дорога вдруг щербато оборвалась, и тотчас в лицо жгуче полыхнуло раскалённой каменной пылью. Это была Гулгатта. Воистину, проклятое место. Когда-то в детстве сходить ночью на Гулгатту было высшей доблестью. Он, кажется, так и не решился. Человечьи кости с Гулгатты служили предметами ворожбы и приворота у сирийских гадалыщиц. Их даже подбрасывали иногда во дворы к недругам.

Ветер вдруг стих, вообще исчез, будто не стало на какой-то момент в мире воздуха и движения, а потом вновь полоснул по лицу наотмашь бурой плетью песка и каменного крошева. Он видел бегущих навстречу людей, кто-то из них громко звал кого-то, кто-то смеялся, кто-то проклинал кого-то. И когда толпа схлынула наконец, пала с небес лиловая тьма, а затем хлынул тяжёлый, бьющий волнами ливень.

Он обнаружил себя на вершине холма, и вокруг не было ни души. Только он, тугие пляшущие полотнища беспросветного ливня, и то, что он боялся увидеть более всего на свете.

– Видел? – тот голос внутри произнёс наконец отчётливо и негромко. – Теперь – иди! Теперь ты никто. Даже не тень. Ты – тень от тени!

Пилар

– Эй! – Женщина по имени Пилар встревоженно махнула рукой. – Эй, Каносо!⁵ Ты не заснул ли часом?

Каносо вздрогнул, будто его впрямь разбудили.

– Н-нет, с чего ты взяла? Я просто...

– Просто ты смотрел на меня так, будто и не на меня вовсе. Будто нету меня и не было никогда, вот как смотрел. Ты вообще странный человек, у тебя даже имени, и то нет. Каносо! Разве ж это имя?.. Ну вот опять, – Пилар притворно нахмурилась и качнула головой. – И куда же ты смотришь теперь?..

* * *

Пилар была садовницей в монастыре Святой Урсулы, что в городе Толедо. Её когда-то пристроила туда младшая сестра Марсела, послушница, миловидная вострушка с круглыми, как виноградинки, глазами, услужлива и глуповата. Пилар была мало похожа на сестру, её

⁵ Canoso (исп.) – Седовласый.

нельзя было назвать красивой, даже смазливой. Но лицо её относилось к тому редкостному типу лиц, которые внезапно и необыкновенно преобразуются в момент оживления: радости, смеха, гнева, веселья и нежности, всё прочее время пребывая невыразительными. И ещё: у неё поразительно менялся цвет глаз – от желтовато-серого, когда она была спокойна, зеленовато-фиолетового, когда она улыбалась, и цвета чёрного коралла, когда она была встревожена или разгневана.

Не будучи монахиней, Пилар и не старалась на них походить, скорее наоборот: себя вела свободно, была остра на язык, насмешлива, порой охотно и вольно переговаривалась с мужчинами, что временами навевались на монастырское подворье – возчиками, торговцами птицей, погонщиками, плотниками, благодушно улыбаясь их сальным шуткам.

Аббатиса монастыря донья Анна Мария де ла Крус видела это, резонно подозревала, что это отнюдь не все прегрешения странноватой садовницы. Однако терпела за расторопность, сметливость, умение держать, когда надо, язык за зубами, за цепкую и безотказную память. И ещё за то, что никто, даже самые опытные сёстры-послушницы, не могли так плавно и певуче прочесть ей на сон грядущий что-нибудь светское, как могла она. А ещё за то, что она с удивительной добротой и снисходительностью относилась к двум приданным ей в помощницы двенадцатилетним сироткам-близнецам, слабоумным от рождения. Фактически переделывала за них всю работу, да ещё подкармливала из скудного своего жалованья. И хоть поначалу настоятельница не желала брать Пилар на работу (знала кое-что из её прошлого), затем незаметно для себя привязалась к ней и уже не мыслила без неё многосложного, прихотливого монастырского быта.

Отец Пилар, разорившийся идалго из Малаги, пробовал себя то на бранном поприще, то на ниве торговли мануфактурой, то баловался контрабандой, равно не преуспев ни в том, ни в этом. Сошёлся здесь, в Толедо, с набожной бездетной вдовой, хозяйкой постоялого двора «Перепелиное гнёздышко». На одной из старинных гравюр ещё можно видеть это двухэтажное, опрятное здание в позднемавританском стиле с узкими стрельчатыми окнами, уютным, тенистым внутренним двориком и двумя украшенными изразцовым орнаментом колоннами, подпирающими балкон над входной дверью.

Кабальеро жил за её счёт, пьянствовал и играл, порой днями не вылезал из блудилищ, прижил с нею двух девочек, и в один печальный день сгинул по обыкновению без следа.

Мать от горя едва не повредила рассудком, две недели не поднималась с постели, истошно рыдала, умоляла Господа ниспослать ей смерть, звала назад возлюбленного и страшными, ревушими проклятиями кляла дочерей, в коих бог весть почему узрела первопричину низвергнувшегося бедствия. Когда ж силы наконец вернулись к ней, почтенная сеньора с горестным лицом отнесла младшую дочь в сиротский приют при монастыре Святой Урсулы, объявив её подкидышем, старшую же поздним вечером продала ярмарочным цыганам за десять медных реалов, не забыв сняв с неё подарок отца, серебряный нательный крестик.

Через три с половиной года восьмилетняя Пилар вернулась, сбежав из табора, что был уже далеко во Франции, в Гаскони. Вернулась, найдя дорогу сама, как старая кошка к хозяйскому дому. Быстро и безошибочно, по каким-то лишь ей одной ведомым ориентирам. Повинуясь лишь слуху и интуиции.

Почерневшая, как обгорелая лучина, вытянувшаяся, большеголовая с длинной цыплячьей шеей, с глубокими рубцами и лиловыми следами ожогов на спине, с пристальным тёмным взглядом ворожеи. Чуралась всех, как зверёныш, хоть никого и не боялась. Изъяснялась поначалу на несусветной тарабарщине из испанских, баскских, французских и цыганских слов.

Мать, которая всё это время жила молитвами да изнурительными постами, приняла её назад, однако же не как родную дочь, а как бы из доброты, как прибудившуюся нищенку, про-

званную *Хитана*⁶, и пристроила к прачке Мануэле, тайно приплачивая ей гроши на содержание. Сама Мануэла, однако, рассказывала, что госпожа поначалу-то распорядилась гнать девку немедля прочь со двора, и даже подняла руку, чтоб ударить паршивку, посмевшую сказать ей «мама», но наткнувшись внезапно на взгляд – прямой, немигающий, цвета чёрного коралла, с внезапно расширившимися зрачками, почувствовала головокружение и озноб, даже едва не лишилась чувств.

А ещё через десяток лет благочестивая сеньора, поскользнувшись в сумерках на мокрой мостовой возле самого дома, упала и глубоко порезала лодыжку стеклянным осколком. Ступня несколько дней гноилась, распространяя зловоние, а затем вздулась, превратясь в бесформенный, всегда мокрый красно-лиловый обрубок.

Лекарь велел два раза в день пускать ей кровь и промывать рану настоем белладонны, вишнёвых косточек и коры дуба. Постоялец Хаиме предложил густую мазь из крови галапагосской игуаны, крысиного помёта и винного уксуса. Опухоль, однако, лишь вздувалась, боли стали неутрачиваемыми, дух гниения непереносимым, стоны перешли в хриплый, волчий вой, разогнав почти всех жильцов заведения. Возле ложа больной оставалась лишь Пилар – бесстрастная, безмолвная, и словно нечувствительная к смраду, стонам и к хриплым, вороньим проклятиям в свой адрес. Эта женщина, плюющаяся бранью, как кипятком, одарила её жизнью, того и довольно. (И никогда впоследствии Пилар не сказала о матери недоброго слова. Хоть и добром не поминала.)

Меняла простыни, повязки и выносила горшки, переворачивала истошно вопящее, кусающееся чудовище с боку на бок. Как-то под утро боль неожиданно стихла, и больная, приняв это как последнюю милость небес, велела послать за священником и нотариусом.

По её настоянию постоянный двор, переименованный когда-то из «Перепелиного гнёздышка» в «Кабальеро Энрике Рамирес», в честь её злополучного сожителя, вроде бы передавался во владение Пилар (которую она даже на смертном одре называла не иначе, как «эта девка-хитана»). Однако опекуном вплоть до достижения девицы Пилар Рамирес тридцатилетнего (!) возраста определялся некий Руис Кардосо, судейский писарь, румяный, пышноусый, чем-то напоминающий приснопамятного Энрике Рамиреса внешностью и повадками. А Пилар до той поры причиталась лишь бесплатная комната на втором этаже с окном во двор, да двенадцать реалов недельного содержания...

Новоиспечённый опекун по выходу из опочивальни усопшей попытался упростить проблему наследования: закрыл комнату на засов и завалил, шумно сопя, тщедушную сиротку на обитую цветным войлоком лавку. Однако Пилар со змеиным проворством вывернулась и со злобной силой сдавила в птичьей своей ладони его увесистую набрякшую мошонку. Другой рукой вынула откуда-то из-за спины наваху с изогнутым, как плавник касатки, лезвием. «Не угодно ль оскопиться, господин судейский?» Сеньор Кардосо, дуря от боли и страха, истошно выкатил белки и замотал головою. Заголосить во всю мочь ему мешали надвинувшиеся вплотную остекленевшие от ярости зрачки Пилар...

* * *

– Ну так господь с тобой, живи и владей, сеньор Руис, – с улыбкой шепнула потом Пилар опекуну, провожая и бережно поддерживая его, изрядно ослабшего в коленях. – Я закон уважаю, ежели он меня уважает. Волю матушки покойной исполню как должно. Но уж и ты помни: через двенадцать лет, когда мне будет тридцать годов, ноги ни твоей, ни твоей жирной жёнушки здесь не будет. А если я узнаю, что ты делаешь хоть что-то, чтоб остаться здесь

⁶ Gitana (исп.) – цыганка.

хозяином подольше, – а я непременно это узнаю, не сомневайся, – то лучше б твоей матушке сеньоре Росарио было родить не тебя, а мельничный жернов...

Жильцы, бывшие тогда во дворе дома, переводили удивлённые взгляды с рыхлой, трясущейся всеми складками физиономии судейского писаря и его спустившихся ниже живота бархатных панталон на разорванную от подола до пояса юбку Пилар и безмятежную улыбку на её порозовевшем лице...

Вещи усопшей матушки, особенно драгоценности, коих, несмотря на богобоязненность, оказалось немало, разобрали невесть откуда объявившиеся родственники. Пилар взяла себе лишь серебряный нательный крестик, отцов подарок.

* * *

– ...Я говорю, куда смотришь?

Человека, сидевшего напротив Пилар, звали Каносо. То есть так его все называли. Во всяком случае обитатели постоянного двора «Кабальеро Энрике Рамирес». Он впрямь был совершенно седой, лишь борода – рыжеватая на треть. Невысокий человек с узким, похожим на неструганную дощечку лицом, впалыми скулами и большими, глубоко запавшими, словно спрятавшимися в сетке морщин глазами. Белый, похоже, сабельный рубец пересекал его лицо от левого глаза до подбородка. Иногда лицо его искажала судорожная гримаса тика, тогда шрам словно оживал, змеился, словно силясь вырваться прочь.

Он впрямь порой имел обыкновение во время разговора «пропадать» на некоторое время в самом себе. Пилар сошлась с ним недавно, быстро привязалась к этому человеку, но относилась к нему примерно так же, как и все обитатели постоянного двора: с любопытством, почтением и настороженностью. Любопытство вызывало хотя бы то, что никто, даже самые осведомлённые, не знали о нём ничего. Почтение вызывали его ум, обширные познания буквально во всём и всегдашняя несуетная готовность помочь словом и делом. К примеру, жиличке Персите, известной когда-то актрисе, выступавшей под именем Персефона, он так легко и понятно растолковывал велеречивые диалоги Кальдерона, будто сам он только тем и занимался всю жизнь, что лицедействовал на подмостках. А лекарю-шарлатану Хаиме, что жил этажом выше, растолковал, как правильно готовить знаменитый отвар из тисовых ягод, аниса и корня айра, изгоняющего лихорадку и немочь. Опаску вызывало то, что он, при всей обширности познаний, неизменно отказывался растолковывать строки Священного Писания, особенно Откровения Иоанна Богослова, ежели его просили. Главное, никто не видел его в церкви, никто не видел его молящимся, листающим Библию и подающим милостыню...

* * *

– Эй, Каносо, если ты и впредь будешь молчать, можешь сейчас же убираться на первый этаж к Персите. Она любит молчаливых, как бараны, мужчин, ибо считает тупость знаком мужской силы. И потому что сама болтлива, как амазонский попугай! Что касается меня, то...

– Пилар, – Каносо наконец улыбнулся, – не стоит сердиться. Я всего-то хотел спросить: зачем тебе это?

Он коротко кивнул ей на колени.

– Это? – Пилар удивлённо округлила глаза и бережно взяла с колен красивое точёное распятие из мексиканского кипариса, источавшего тонкий аромат, с позолоченной инкрустацией и даже с чеканными серебряными буквами INRI на перекладинке. – Это подарок матушки настоятельницы, храни её Господь. Что значит зачем? Зачем вообще нужны распятия?

– Вот и спрашиваю – зачем?

– Меня?

– Упаси бог. Ты всё равно не знаешь, но наверняка произнесёшь какую-нибудь высокопарную глупость.

– Глупость? – Пилар нахмурилась и отодвинулась. – По-твоему, я набитая дура, вроде это разрисованной обезьянки Перситы?

– Далась тебе эта Персита.

– Далась, да не мне, а тебе, – Пилар презрительно сощурилась. – И, по-моему, уже не раз.

– Ты знаешь, что это не так.

– Не так? А вот мне показалось, что именно так, когда вы третьего дня до полуночи возились с дурацкой пьеской сочинителя Тирсо де Молина. А потом эта ряженая гоготала, будто сам дьявол щекотал её потные подмышки...

– Но пьеса в самом деле забавная, Пилар. Ты бы в этом убедилась, ежели б мы с тобой сходили на представление...

– А вот это без меня. Мне хватает ежедневно видеть эту пыльную красотку, когда она по утрам выносит во двор горшок, полный её ночных грёз. И вообще, почему ты решил, что я непременно скажу глупость? Разве не глупый этот вопрос: зачем нужны распятия?

Пилар, вызывающе глянув на него, вскинула изображение, будто любясь им в лучах закатного солнца. Лицо Каносо вновь располосовал тик.

– Так ты хочешь, чтоб я ушёл?

– Нет, – Пилар продолжала, блаженно щурясь, любоваться распятием, – мне просто непонятно, отчего ты бесишься. Ведь это ж просто красиво...

– Красиво? – Белый шрам на щеке вдруг побагровел, будто вновь стал кровоточить. – Может ли быть красивым орудие истязания? Почему б тебе тогда не поставить на столик гарроту из чёрного дерева с серебряными пластинами или инкрустированный золотом «стул ведьмы»⁷? Крест... Если б ты хоть глазком видела, как оно происходит *там*. Эту кровь, эту желчную блевотину... это предельное унижение, когда на глазах у всех у тебя течёт из всех дыр, когда уже кажется, что смерть – это высший и недоступный дар небес. Клянусь, я знаю, *что* говорю... Дай-ка его сюда, – Каносо требовательно протянул руку. – Дай, я сказал!

Пилар, настороженно косясь, покорно подала ему распятие.

– А что я вижу здесь? Какую-то женоподобную рептилию с блаженно закрытыми глазёнками и капризным ротиком содомита. Это распятие?! О, если б я мог изобразить распятие таким, какое оно было, и подарить тебе, клянусь небесами, ты бы сошла с ума от ужаса. А это... Тьфу!

Каносо вдруг потемнел лицом и в бешенстве ударил изображением об угол стола, и оно разлетелось на куски...

* * *

– Прости, Пилар, что-то на меня нашло, – Каносо понуро встал, стараясь не глядеть на Пилар. – Наверное, я пойду. Я, собственно, затем и пришёл, чтоб попрощаться. Да, попрощаться. Это тебе трудно будет понять, но я...

– Прощаться? – Пилар невесело усмехнулась. – А как же представление Тирсо де Молина?... Шучу, Каносо. Как и ты пошутил. Да и нету у меня подходящей юбки для благородных заведений. Не поверишь, я так и поняла. С самого начала. Иначе б ты не стал так себя вести, – она вдруг со смехом пнула ногой чёрный кусок разлетевшегося распятия. – Ладно! Если мужчина, который от тебя уходит, нервничает и совершает несутражности, это всё же лучше, чем если б он был весел и игрив, шлёпнул по заднице на прощание и сказал: «Прощай, крошка, с тобой было чудно, но мне пора». Так?!

⁷ Стул ведьмы – орудие пытки средневековой инквизиции. Стул, усеянный шипами.

Каносо не ответил.

– Ещё хотела сказать, Каносо, – сказала, помолчав, Пилар, – никогда и никому не говори то, что ты мне сказал только что. Тем более мужчинам.

– Видишь ли, Пилар...

– Вижу. Я не ребёнок, Каносо. Я ребёнком не была вообще. Я в шесть лет повидала такое, чего пожилым господам в страшном сне не снилось. Знаешь, однажды в Провансе один крестьянин с утра не досчитался трёх лошадей. Сразу подумали на цыган. Он и его родня подняли всю деревню и пошли громить гадючье гнездо. Мужчин забивали мотыгами, женщин насиловали и топили в речке. Детей загоняли в шатры, шатры поджигали, тех, кто выбирался, загоняли обратно плетями и пинками. Я спаслась, потому что заползла под трупы и дышала тем, что выдыхала земля. Когда выползла, меня заметили, хотели добить, но кто-то крикнул, что я не похожа на цыганку. Тогда меня исполосовали воловьим бичом, вырвали серьги из ушей и пинком сбросили в Гаронну с обрыва. Я добралась до островка посередине реки и сидела там в кустах до полудня, покуда это проклятое зверье не угомонилось и не ушло прочь. Затем вернулась обратно, хотя по сей день не умею плавать. Просто очень, до волчьей тоски желалось жить. Ты этого не знал? Так знай. Я могу быть живучей, как гадюка, я знаю кучу языков и наречий. Могу врачевать раны, заговаривать боль, принимать роды, знаю, как готовить отвары и снадобья от всех хворей, куда больше, чем этот блудливый дурак Хаиме. Могу даже стать монахиней, ежели пожелаю, – знаю Священное Писание почти назубок. Я могу изображать что угодно и кого угодно. Могу играть на лютне, виуэле, мандолине и на цитре, трещать кастаньетами, как заправская хуглара⁸. Могу гадать на картах, на бобах, на разогретом воске или свинце. Меня любят дети и собаки: дети перестают плакать, едва я прикоснусь мизинцем к их темечку, а самый злобный цепной пёс ляжет мне под ноги и завиляет хвостом, едва я сделаю вот так, – она как-то по-особому протяжно цокнула языком. – Я – Пилар Хитана, была и есть! Если я выйду на сцену, твоя надушенная киска Персита мне даже в суфлёрки не сгодится. У меня было не так много мужчин, как, может, иным кажется, но я знаю о любовных изысках столько, сколько не снилось потаскухам, которые вылезают из будуара для того лишь, чтоб выжать простыни... Но есть то, против чего бессильны и я, и ты. Там не поможет ни твой ум, ни моя двужилкость. И ты знаешь, о чём я. К чему я говорю? – Она вдруг придвинулась ближе и вперилась в него потемневшими глазами. – Не с тем, чтоб тебя удержать, Каносо. Я достаточно умна, чтоб не желать невозможного. Я, видишь ли, многовато повидала в жизни, чтоб травить себя слезами по утраченному. Но! Каносо, сейчас мне хотелось бы знать одну вещь... Вот ты сказал: «Если б ты хоть глазком видела, как оно происходит...» Я тебя знаю, ты слова пустого не скажешь. Ты хотел сказать...

Пилар вдруг осеклась и замолчала, прислушиваясь к чему-то. Впрямь послышался странный звук, похожий на шелест, будто чем-то невесомо мягким проводят по дереву. Через мгновение он повторился, уже ближе. И вскоре этот бесплотный звук, как кошачьей лапой, коснулся двери.

– Фабио, – почти беззвучно произнесла Пилар...

Фабио

В тот день, ещё утром, Каносо остановил во дворе жилец первого этажа Жоахим Перейра, или попросту дядюшка Жако, крещёный еврей из Португалии, торговец рыбьим клеем. От него самого, от всех его вещей, от его каморки наверху, исходил тяжёлый запах этого самого рыбьего клея, а также уксуса и прогорклого желатина. Однако всё ему прощалось за безотказность и доброту, особенно к детям. Дети платили ему тем же и с воинственными воплями отгоняли

⁸ Juglar (*исп.*) в средневековой Испании – бродячий музыкант, скоморох.

мальчишек с соседних улиц, которые порой швыряли камни ему в спину и кричали: «Вонючая курица, не ходи нашей улицей».

Говорил он всегда запыхавшейся скороговоркой, шепеляво коверкая слова, словно опасаясь проглотить горячее, и как-то искоса заглядывая в глаза собеседнику, словно силясь прочесть в них что-то, чего не услышат уши.

«Сеньор Каносо, уж простите, что так вас называю, – сказал он ему, придерживая за рукав, – я ведь что хочу вам сказать. Я давно живу в этом доме, и хотел бы пожить ещё именно здесь. Спрашиваете, почему здесь? Отвечу так: в этом доме живёт ангел. Воистину так. Сеньорита Пилар – благороднейшая женщина, добрейшей души, храни её Свя-тая Дева. Если б не она, мне бы давно... да что об этом говорить! Но есть один человек, не хочется даже называть его по имени... Я всяких людей повидал, уж поверьте, но таких дурных людей, как он, – право слово, не видел. У него нутро – как выжженное дупло. А кровь чёрная, как дёготь. Меня тут знают, знают, откуда я, кто я. Я крестился семь лет назад в Саламанке! С тех пор не пропустил ни единого поста, ни единой мессы, клянусь Святым Иаковом! Это правда. Правда и то, что в моей комнатке в сундучке, на самом дне хранится Танах, Талмуд, Каббала и ещё кое-что.

– Я знаю, – кивнул Каносо.

– Знаете. И все знают. И все молчат об этом. Спросите, почему? Да потому, *что в этом доме живёт ангел*. Именно поэтому я, ежели дозволит Всевышний, так и буду жить в этом доме. Но... Есть этот господин. Фабио. Фабио Урибе, галисиец. Так вот, он тоже *знает*. Тянет из меня половину моего дохода и даже не скрывает, что рано или поздно всё равно сдаст меня в руки Святого братства. Я не жалуясь, поверьте, это мой крест, мне его и нести. Как говорила моя матушка, мир праху её, позже старости никто покудова не умер. Но... Это господин, против которого бессилён Ангел. Клянусь Святым Иаковом, я боюсь даже не столько за себя, сколько за неё. Она не боится никого, это да. Но его – боится. И вам, сеньор, лучше бы быть осторожней...

* * *

– Фабио, – шумно выдохнула Пилар и встала, прижавшись к стене лопатками.

Вошедший, не глядя ни на кого, прошёлся по комнате, всё так же бесшумно, войлочной ступая, перебирал с усмешкой тёмные костяные чётки, словно кроме них не было в комнате ничего заслуживающего внимания. На Каносо не глядел, вообще делал вид, что и нету его вовсе, однако беспрестанно косил на него настороженный звериный зрачок. Желтоватое, изуродованное оспой лицо, капризно изломанный рот жестокого ребёнка.

Встал спиной к окну, мягко перекатываясь с пяток на носки. Затем прихотливо склонил голову набок, коротко присвистнул, разглядев что-то, нагнулся, чтобы поднять. И тотчас Пилар, издав остервенелый птичий клёкот, кинулась ему под ноги, почти вырвав из его рук то, что он намеревался подобрать.

Фабио вновь присвистнул.

– Ого! Дело ещё интересней, чем я думал. Каково – попирать Святое Распятие! Смеясь и глумясь ходить по обломкам, отображающим крестные муки?.. Пилар, напрасно мечешься и прячешь обломок за спиной, я всё видел. Ты хотела спасти – не себя, нет. Ты хотела спасти вот этого! – Он наконец удостоил взглядом Каносо. – Не стоило труда. Он спасётся без твоей помощи. Как спасался всегда. Но когда твои кости будут дотлевать на площади Святой Анны, он уже забудет, кто ты, и как звали-то тебя. Если кто и может помочь тебе, несчастная, так это не он, а я, ибо...

Он замолк, встретившись взглядом с Каносо. И тотчас что-то переменилось в его лице. Злорадное самоупоение сменилось скрытой тревогой.

– Каносо. Есть люди умные. Те, которые понимают, что надобно спасти шкуру, и потому тихо встают и тихо уходят. Есть люди глупые, которые этого не понимают, пока им не сделают больно. Очень больно! Так больно, что...

– Так ты хочешь сделать мне больно, Фабио? Давай, попробуй.

Фабио усмехнулся и покачал головой. Усмешка была холодной и щербатой, как створки раковины.

– Слышал, слышал, что ты не трус. И не только это. Слышал всё, что ты только что втолковывал этой девке. Слышал, что ты дезертир. Слышал, ты помог укрыться в Гранаде целому выводку морисков. Это ведь правда?

– Запросто может стать, что и правда. Но правда и то, что, если тебя завтра утром сыщут с разmozжённой башкой в подворотне, никто не подумает ни на меня, ни тем более на Пилар. А подумают скорее на дона Алонсо Риверу, который только сегодня вечером узнал, кто именно сдал Трибуналу Святой инквизиции его старшего брата и жену его, чей, кстати, золотой медальон ты сейчас носишь на своей шее, как публичная девка. Подумают, да и перестанут, ибо семейство Ривера не последняя в Толедо, а ты... ты – пустое место. Тебя забудут тотчас, как зароят где-нибудь на пустыре. И не лезь в карман, Фабио, всё равно не успеешь.

Есть люди, для которых самое страшное – когда их не боятся. Они могут существовать лишь излучая страх и питаясь ответным рикошетом страха. Едва подпитка прекращается, они лишаются внутреннего стержня и начинают растекаться, как свиной студень в тепле. И злоба, которую они выделяют, лишь исходит пузырями, не более. Фабио начал терять самообладание, едва поняв, что Каносо его ничуть не боится. Но едва услышав про семейство Ривера, впал в замешательство. Месяц назад по наущению давнего недоброжелателя и должника семьи, он написал донос на старшего брата Висенте, в котором указал, что тот по ночам, в полнолуние одевается во всё чёрное, перекраивает статуэтку Святой Девы в фаллический знак и призывает Дьявола. Висенте был вызван на допрос, но к вечеру того же дня его хватил удар и он скончался. Его жена Лусия, узнав о его смерти, набросилась на охранника и, подбежав к окну, выбросилась и разбилась о мостовую.

Чиновники Святого братства дело, как могли, постарались замять, а Фабио дали понять, чтоб он убирался из Толедо подальше. Да тот и сам знал лучше других: если в семье Ривера узнают, кто обрёл на смерть старшего сына и невестку, он, Фабио, не жилец на этом свете.

Он, ещё некоторое время продолжая сохранять брезгливо-высокомерное выражение лица, отошёл от окна и всё так же, посвистывая, подошёл к двери. Возле неё он замер, намереваясь обернуться...

– Не оборачивайся, Фабио. Не трать время. Всё, что может тебя сейчас спасти, это сноровка. Тебя уже ищут по всему городу. Странно, что они до сих пор здесь не появились.

И тогда Фабио толкнул дверь и исчез, будто не было его никогда.

Каносо

– Он не вернётся, – произнёс Каносо, когда за ушедшим затворилась дверь.

– Хотелось бы надеяться, – холодно ответила Пилар. – Но ты-то в любом случае можешь уходить спокойно. Ты ведь знаешь, я живучая, как гадюка. Господь милостив, как деревенский падре: что-то отнимет, но что-нибудь да подарит взамен. Не пожелав дать мне то, что должно иметь человеку, он дал то, что должно иметь зверю. И я не скажу, что много потеряла. Так что ступай себе. Ну! Ступай, я сказала, Каносо!

Она недобро сверкнула глазами и хотела подойти к двери, дабы распахнуть её пинком, но тут случилось то, чего она в тот момент втайне желала, может быть, более всего в жизни: он удержал её. Просто подошёл сзади, взял за плечи и прижал к себе.

– Ты ведь о чём-то хотела меня спросить?

– Уже не помню. Но ежели ты о чём-то хотел мне рассказать, – Расскажи, – ответила Пилар, не разжимая век. – Только не сейчас, Каносо. Чуть позже... Нет, погоди, я только закрою дверь.

Пилар подошла к двери, но едва взялась за ручку, как кто-то с противоположной стороны с такой силой рванул её на себя, что она едва не вылетела в коридор. В комнату, отпихнув её в сторону, вошли двое мужчин. Один – коренастый, курчавый, похожий на мулата с неимоверно широкими плечами и короткопалыми ладонями. Другой – наоборот, сухопарый, с серым, рыбьим лицом, в надвинутой на брови войлочной шляпе. Он, даже не взглянув на Каносо, подошёл к Пилар и, сморщившись, взял её двумя пальцами за подбородок.

– Тихо! Тихо, я сказал! Не нужны нам ни твоя жизнь, ни твои гроши. Нам нужен Фабио Урибе. Скажешь, где он, мы тотчас и уйдём, даже заплатим за труды, если заслужишь. Не скажешь...

– Она не знает, – подал голос Каносо. – Скажу я, ежели вам будет угодно. Только сперва окажите любезность, извинитесь перед сеньоритой, иначе разговора не выйдет.

Лицо сухопарого плаксиво сморщилось. Он вразвалку подошёл к Каносо и ощерил кривые, жёлтые зубы.

– Как ты сказал? Извиниться? Перед кем?

– Именно извиниться, – Каносо отошёл от стены и приблизился к сухопарому, уперев руки в пояс. – Иначе, повторяю, разговора не будет.

– Эй, бродяга, ты, похоже, не понял, с кем дело имеешь.

– Знаю. Вы люди Алонсо Риверы. Но если ты сейчас не извинишься перед дамой, вы не получите свою тысячу пиастров. Более того...

Коренастый вдруг усмехнулся.

– Может, ты и прав, герой. Эй, Диего, ну впрямь извинись, что ли. Неловко как-то всё вышло... Не хочет. М-да. Сеньорита, а можно я извинюсь за него? У моего друга Диего такой скверный характер. Можно? Так простите же нас великодушно, сеньорита. Мы просто очень торопимся и сильно нервничаем.

– Можешь убираться, откуда пришёл, – презрительно цыкнула Пилар.

– Я понял так, что она простила! – Коренастый улыбнулся. – Давай не будем кобениться, скажи, где нам искать этого Фабио, и разойдёмся с миром.

Каносо кивнул.

– Ну и вы меня простите, коли я был резок. Просто эта женщина мне очень дорога, понимаете? А Фабио... Он был здесь незадолго до вас. Девять из десяти, что он сейчас либо на мельнице, что сразу за воротами Бисагра, либо на пути к ней. Все иные места ему заказаны – слухи в Толедо летят быстрее птицы. А мельничиха Милагрос на ухо туга и слабоумна. Считает его своим сыном, хоть старше его всего лет на пять, и спит с ним. Так что поторапливайтесь, ребята. И уж мельничиху не обижайте, она-то ни в чём не виновата.

– Не обидим, даст бог. Ну если только она сама попросит. А за наводку спасибо. Если это правда, конечно. Если неправда, прости, парень, но – пеняй на себя. Кстати, а откуда ты пронюхал про тысячу пиастров?

– А я не пронюхал, – Каносо с улыбкой качнул головой. – Просто брякнул наобум. Неужто совпало?

– Почти, – усмехнулся коренастый и толкнул локтем своего насуспенного спутника. – Ну пошли, Диего, пока нас не опередили.

* * *

– Каносо, я повидала всякое. Но ради меня никто ещё не шёл на верную смерть.

– Да я и не шёл на смерть. Эти люди шли не убивать, а заработать деньги. Просто, как пощённики. Судя по их облику, они вообще нанятые бродяги. Если они получают свою тысячу пиастров, а они их получают непременно, они тотчас позабудут всё. Если только не перережут друг дружку при делёжке... Тебе жаль его?

– Кого?

– Ну этого, Фабио. У вас ведь было что-то?

– У нас-то? А то как же! Полтора года назад я помогла избавиться от бремени одной знатной даме. Муж её – личный почтмейстер вице-короля Перу. Пока он бороздил океан, супруга по простоте забеременела от молодого конюха. Обычное дело в благородных домах. А я по дуруости и взяла грех на душу. Уж как эта гнида Фабио об этом прознал, не знаю, но он исправно доил эту тупую, вельможную тёлку. А меня... он для начала попросту изнасиловал прямо здесь, на полу. Потом тянул с меня деньги... ну и прочее. Так что можешь считать, что – было. А что оставалось делать? Если бы об этом прознали господа из инквизиции, почтмейстерша откупи-лась бы, а у меня бы по закону вырвали грудь раскалёнными щипцами. Если честно, я и с тобой сошлась, чтоб как-то защититься от этой мрази. Поначалу. Я позвала тебя именно сегодня, потому что знала почти наверняка, что он придёт в этот день. Потому что я видела позавчера, как он шепчется с моим опекуном. А уж он-то момент бы не упустил, чтоб от меня избавиться. Вот видишь, Каносо, с кем ты связался? Так что теперь ты можешь уходить с лёгким сердцем. Теперь я...

– Жаль, ты мне не сказала об этом раньше, Пилар, – Каносо осторожно погладил её по лицу. – Всё было бы проще...

– Едва ли, – Пилар осторожно взяла его руку и прижала к бедру и прильнула всем телом. – Жизнь, Каносо, пустоты не терпит, ты знаешь. Появилось бы непременно что-то другое. Но я что-то расположена говорить не об этом. Нагнись пониже, я тебе шепну, о чём я хочу говорить...

Агасфер

Тишина состоит из множества глухих, взаимоисключающих созвучий. Кажется, исчезни хоть одно из них, и тишина разлетится вдребезги, как зеркальное полотно от камушка, и разразится нестерпимым хаосом звуков. Тишина стояла такая поглощающая, что одновременно и пугала, и настораживала. Куда ж оно всё девалось – голоса за стеной, скрип ржавого флюгера на крыше, лязг тележных колёс по мостовой, не повымирала же вся округа в одночасье?

Пилар лежала, боясь пошевелинуться, дабы не вспугнуть эту тишину. Наконец где-то за окном на улице протяжно и тоскливо завывла собака. Пилар улыбнулась: всё в порядке, кажется, жизнь продолжается.

– Каносо, ты не спишь? – спросила она полушёпотом, зная, что он не спит. Почувствовала, как он покачал головой.

– Пилар, – он сел и стал одеваться, – вот ты сказала сегодня: у тебя даже имени нет. Разве, мол, это имя – Каносо!

– Видишь ли, я...

– Погоди, – Каносо знаком остановил её. – Ты права, нету такого имени в христианском мире. Дело, однако, в том, что другого имени у меня нет. То есть я его не знаю. Я вообще ничего не знаю о себе до того, как очухался в рыбацкой лачуге возле Альхесираса. Мне сказали только, что меня нашли неподалёку от берега с разбитой башкой и в кровь разодранными руками, брюхом и лицом, что на мне была одёжка моряка, то есть то, что от неё осталось, что я изрядно нахлебался морской воды, и что проспал подряд двое суток. Меня выходила жена хозяина, Камила. От неё пахло рыбой, и ото всего, к чему она прикасалась, пахло рыбой и морем. И когда я силуюсь вспомнить своё детство, я вспоминаю только запах рыбьих потрохов

и гниющих водорослей. А когда бессильно стараюсь вспомнить свою мать, то вижу в памяти добрейшую сеньору Камилу, мать четверых девчонок, вынашивающую ещё одно дитя... Она то и дала мне ненароком это имя – Каносо. Куда ж я от него денусь... погоди! – он вновь вскинул руку, видя, что Пилар хочет что-то сказать. – погоди, пожалуйста. Есть ещё кое-что. Память человечья – как кресало: высекает искры, но сама не даёт огня. Да, я мог бы прояснить, что за судно погибло в тот день в Альхесирасской бухте, но всякий раз по непонятной причине терял к этому всяческий интерес. Меня будто одолевал сон, стоило лишь подумать об этом.

Я боюсь тревожить свою память по одной причине, о которой, клянусь, не говорил никому. Стоит мне начать пытаться вспоминать минувшее, как я начинаю видеть то, что совершенно очевидно *не происходило со мной*. Просто не могло происходить! Но вижу так ясно, с такой режущей душу отчётливостью, которая недоступна воображению. Что именно? Вижу город – чужой, маленький, пыльный и жаркий. Я никогда не был там, но знаю как свои пять пальцев. Вижу мать. Нет, не свою! Я точно знаю, что это не моя мать. Она мать кого-то другого, того, чью память по чьей-то изощрённой воле вживили в мою. Она говорит со мной на языке, которого я не знаю и не знал. Но слова эти входят в меня как-то иначе, минуя слух и мозг. Она даёт мне грубый глиняный кувшин без ручек с треугольным клеймом горшечника. Кувшин с холодной водой. Она говорит: «Поди, дай напиться тому несчастному, что стоит сейчас возле нашего дома. Не знаю, виноват ли он. Может, виноват. Но ведь его ведут умирать, он устал от своей вины и ему хочется пить, а пот разъедает раны. Даже проклятому Каину Господь не заповедовал в знойный полдень отказать в глотке воды. Тем более человеку, которого ведут умирать». Я вышел на порог дома и увидел того человека. Он был тощ, мал ростом и измождён. Казалось, ничто окружающее не заботит его, ибо он обдумывал свою смерть. Но когда он увидел меня с кувшином, он забыл о своей смерти и улыбнулся так, будто ему несут не воду, а повеление о помиловании. Будто этот кувшин есть то, ради чего стоит принять смерть. Но когда я приблизился, какой-то человек с тяжёлыми красными веками и кожаным поясом вокруг живота закричал: «Что ты несёшь? Воду несёшь? Да ему кипятку влить в глотку мало, он хотел всех нас взять и погубить, он лжец, фокусник и шарлатан, бог весть скольких людей он обманул!» И тогда я плеснул воду в пыль прямо под ноги человеку, который шёл умирать, и размышлял о смерти. Потом толкнул его в плечо. Я сказал: «*Поди прочь, иди, куда ведут*». И он подчинился, будто я хлестнул его бичом, даже голову в плечи втянул. Лишь обернулся. И взгляд у него был растерянный, как у обманутого ребёнка: «Почему и за что?»

Я хотел вернуться домой и тотчас позабыть об этом, ибо произошедшее, как мне казалось, не стоило того, чтоб оставаться в памяти. Но к ужасу своему, обернувшись, я не увидел ни дома, ни матери. Даже кувшин исчез из рук, будто не было отродясь ни кувшина, ни матери, ни дома, ни меня самого. Только маленькая грязная лужица на мостовой в том месте, куда я выплеснул воду. И тогда какой-то повелительный голос погнал меня по извилистой, как винтовая лестница, дороге вверх, в сторону холма, название которого я...

– Голгофа? – внезапно перебила его Пилар.

– Да, – глухо отозвался Каносо. – Но там он назывался по-другому. На вершине холма стояли три столба с перекладинами. Двое из пригвождённых уже отдали богу душу, один ещё был жив и что-то бессвязно бормотал, бессмысленно таращил глаза и блевал жёлто-зелёной жижицей. И тогда...

– Я, кажется, знаю эту историю, – Пилар вновь нахмурилась. – История про Агасфера. Верно?

– Верно.

– Но при чём тут ты? Ты считаешь себя...

– Я считаю? Что я могу считать?! Я знаю: то был не я. Но я не хожу в церкви, потому что, когда я вижу распятого Христа, я вижу и слышу, как ломают суставы, как течёт кровь, как роятся мухи вокруг крови, рвоты и пота. И вижу остекленевший взгляд: Почему и за что?!

Я пытался облегчить душу исповедью, но священник бежал из исповедальни, не дослушав. И всё тот же странный голос внутри меня гонит меня вперёд. «Видел? Теперь иди!» Однажды я пришёл в церковь Святого Фомы рано утром, не обращая внимания на священника, упал на колени перед деревянным изображением Девы Марии у Креста и закричал: «Матушка наша! Ведь Он – сын тебе. Да скажи ж ты ему: «Сыночек, ты ведь учишь прощать и даже любить врагов и обидчиков. Так отчего же ты, сынок, терзаешь и мучаешь своих обидчиков и гонителей. Призываешь к милости и прощению, а сам жесток и мстителен, как надсмотрщик на галерах! Отчего Господь проклинает столь изощрённо и избирательно? Отрекись от него, матушка, коль он так бессердечен. Пусть и ему будет больно, как больно тем, кого он проклял!»

Так я сказал. И бежал из храма. Потому что вокруг уже слышались яростные вопли. Вечером того же дня на рыночной площади, где я выгружал с телег корзины с тунцом, ко мне подошёл человек в грубом плаще пилигрима. И сказал: «Ты ошибаешься. Он никого не прощает. Ибо никого и не проклинает и не винит. Зло чуждо ему. А те, кто творит зло именем его или приписывают ему мстительную злобу, – равны фальшивомонетчикам, ибо ведают, что творят. И никто не покарает жесточе, чем ты сам, ежели у тебя есть совесть. А ежели нету её – что толку карать. Всё равно, что слепому глаза завязывать. Ты проклял себя сам. Сам и простишь, когда сможешь». Когда я крикнул ему: «Да как же мне простить себя за то, о чём я сам не ведаю?!», он исчез. И все, кто были вокруг меня, говорили, что никакого пилигрима тут не было – откуда ж пилигримы в рыбном-то ряду – и предлагали опохмелиться. И лишь потом, когда я нагрузился вином, один, я даже не разглядел его лица, сказал мне: «А ведь верно, был тот пилигрим. Он сказал, когда уходил: «Он подскажет тебе, как». Я по сей день силюсь услышать, что он подскажет. Но в ушах только одно: «Теперь ты никто. Даже не тень. Ты – тень от тени!»

– Но Господь милостив! – вдруг вскрикнула Пилар, приподнявшись на локте. – Уж я-то знаю. Знал бы ты, сколько раз...

– Не говори о Господе, это смешно. Отчего? Ты... ты когда-нибудь видела шахматы? Ну есть такая восточная игра, там...

– Я знаю, – Пилар недовольно насупилась. – Даже немного умею играть. Меня учил дядюшка Жако.

– Дядюшка Жако, – Каносо усмехнулся. – Ну хорошо. Вот ты стоишь над доской. Берёшь фигуру. Любую. Она может быть перемещена на любую нужную тебе клетку – белую, чёрную. Всё зависит от тебя. И от правил игры. Но никак не от фигуры. Неважно, пешка или король, из липовой чурки или из слоновой кости. От них равно не зависит *ничего*. Только от тебя. А над тобою – Господь Всеведущий. Он тоже стоит над доской. Над своей. Но его доска по сравнению с твоей – как Океан в сравнении с твоей слезинкой. И правила Игры во столько же сложнее. Он берёт фигурку – тебя, меня, Фабио, дядюшку Жако, короля Филиппа Третьего – и двигает. И от нас зависит положение на его доске ровно настолько, насколько от фигурки на нашей. Только от его воли и хода игры. И мы можем ведать о Промысле Божьем не более, чем слон или ладья – о твоих мыслях и помыслах. И иногда мне кажется, что над ним, над Господом нашим, тоже стоит кто-то и держит его в руках, как...

– Замолчи! – Пилар вскрикнула так громко, что испугалась сама. – Замолчи сейчас же! – повторила она хриплым шёпотом. – Не за это ли Всевышний и карает тебя? Сравнить Господа нашего с крашеной куклой!

– Нет, Пилар, Господь не карает, как ты не караешь пешек и ферзей. Есть игра, есть её правила, и правила эти созданы не им. Он лишь следует им, и не ему дано их...

– Всё! – Пилар вскочила на ноги, полуодетая и с искажённым яростью лицом ткнула пальцем в сторону двери. – Поди прочь, Каносо! Прочь, я сказала!!! – Она вдруг сникла и глянула исподлобья. – Прости, но я не могу это слышать. Прости, Каносо, ты сегодня спас мне жизнь. И не только мне. Да. Но эта сволочь Фабио был в одном прав: ты всегда уйдёшь от

опасности. А я – нет. Я привыкла цепляться за жизнь, как драная кошка, и ловить опасность ноздрями. Цыганка, что выкормила меня, когда я подыхала от голода в Провансе, говорила: «Знай и помни всегда: если ты всё ещё жива, то, значит, вместо тебя умирали другие». И я это помню. И сейчас чую эту самую чёртову опасность. И причина её – ты. Видишь ли, если с меня живой сдерут кожу, как с ведьмы, мир ничего не потеряет. И не заплачет никто. А ежели кто и всплакнёт, так уж точно не ты: эка беда – чёрная пешка.

– Пилар, ты...

– «Ты неправа» ты хотел сказать? Может, неправа. Но это ничего не меняет. Я – человек, и я хочу жить. Жить, наконец, как обычный человек. Пока мне это не удавалось ни дня. Но, может быть, удастся ещё. Через четыре года мне будет тридцать лет. Я выгоню в шею этого толстомордого кровососа Руиса и стану хозяйкой этого дома. У меня, возможно, будет ребёнок. И, возможно, не так уж нескоро, – она вновь исподлобья глянула на Каносо. – Я не хочу, чтоб он сторел вместе со мной в моём чреве. Наверное, ты лучший из людей, которых я встречала в жизни. Наверное, мне ни с кем уже не будет так, как с тобой. Но ты пришёл попрощаться и уйти. Так вот, ты попрощался. Теперь – иди.

Каносо вздрогнул и ссутулился. Ему вдруг показалось, что последние слова произнесла не Пилар, а тот, внутри него. Он пошёл к двери, и у неё хватило сил улыбнуться ему вслед, хотя он не оборачивался.

«Когда человек уходит от тебя, глянь внимательно на его спину, – говорил ей когда-то дядюшка Жако. – Ничто так не показывает человечье нутро, как его спина, когда он уходит от тебя».

Пилар глянула вслед Каносо, как он шёл к двери, как на мгновение замер возле порога, и поняла, что он вернётся. Оттого и улыбнулась. Навернувшиеся было слёзы так и не выступили, а лишь слегка омыли глаза, которые тотчас окрасились зеленою фисташки. Так, не переставая улыбаться, она оделась и принялась прибираться в комнате. Обломки распятия сложила в холщовый мешочек и засунула на дно сундука.

– Счастье – это когда неохота думать, что завтра оно закончится, – вполголоса сказала она своему отражению в овальном зеркале.

«За это можно кое-что и перетерпеть, не так ли, подружка?» – ответила ей зазеркальная Пилар, и она кивнула ей.

«И запомни, – Зазеркальная Пилар вдруг перестала улыбаться и глянула исподлобья, – сегодня ты сказала ему «поди прочь». Ты. Ты и должна его воротить, когда время подойдёт. Иначе *это* может случиться с тобой».

Пилар вновь кивнула и отошла от зеркала.

Близилось время ужина. А после ужина ей надлежало прибыть в опочивальню матушки аббатисы читать вслух недавно присланную из Мадрида новую часть презабавной книжицы некоего сочинителя из Севильи о чудаковатом кабальеро, вообразившем себя странствующим паладином времён Амадиса Гальского, и отправившемся куролесить по миру, оседлав костлявую клячу и водрузив на голову бритвенный таз вместо шлема...

* * *

Весной следующего года Пилар родила мальчика.

Незадолго до этого опекун её, сеньор Руис Кардосо, изрядно выпив с приятелями крепкого карибского пунша, потребовал от супруги ещё выпивки, а когда та отказалась, полез в погреб сам, осыпая её бранью, но на лестнице оступился и рухнул вниз, разбив затылок о дубовый бочонок. Послали за священником, но тот застал его уже бездыханным.

Постоялый двор «Кабальеро Энрике Рамирес» перешёл во владение Пилар, так было предусмотрено завещанием её матушки.

Фабио Урибе был найден задушенным на пустоши, что за воротами Бисагра. Задушили его, вероятней всего, золотой цепочкой от фамильного медальона семьи Ривера. Она валялась рядом, да никто не посмел к ней прикоснуться. Мельничиха Милагрос говорит, что не знает, что за люди в тот вечер увели из дома её сыночка. Говорит лишь, что люди те были учтивые, улыбочивые, особенно один, такой курчавый и смуглый. Он до сих пор к ней заходит и передаёт приветы от сына.

Через полтора года Пилар привезла в дом полуживого, измождённого седого человека из богадельни при монастыре кармелиток, что в городе Куэнка, где тот уже почти умирал от жёлтой лихорадки. Привезла на скрипучей кибитке, крытой куполом из плетёной ивы, запряжённой парой мулов. Ехали двое суток. На вторую ночь больному стало хуже. То он звал кого-то на помощь, то просил кого-то продержаться ещё чуть-чуть, а то и вовсе выкрикивал что-то на непонятном, гортанном языке, похожем на мавританское наречие. Пилар отпаивала его настоями, пыталась успокоить, но тщетно, ибо мозг его был налит жаром, как плавильный тигель, и был нечувствителен к боли – своей и чужой, а мысли, подобно каплям жидкого олова, упавшим в холодную воду, причудливо, до неузнаваемости преобразались.

К рассвету Пилар выбралась из фургона и обессилено присела на козлы.

– Шла бы ты спать, деточка, – сказал ей дядюшка Жако, который правил мулами. – Глаза красные, лицо мела белей. Кто ж тебя такую замуж-то возьмёт? А?

Пилар усмехнулась и положила голову ему на плечо.

– А я вот сейчас с полминуты подремлю у вас на плече, больше и не надо. И – сразу под венец. Хоть за августейшего инфанта. Это лучше вы, дядюшка, спать ступайте. Сутки, считай, не спите, при ваших годах. А я – ничего. С мулами иной раз легче, чем с людьми.

– Я давеча в богадельне той поспрашивал тамошний народ, – вдруг сказал дядюшка Жако, понизив голос и прищёлкнув вожжами. – Ну про больного нашего. Не напрямую, конечно. Так вот, представь, один бедолага, помнишь, наверное, одноглазый такой, звать его Эухенио. Так вот, он мне шепнул по секрету, что знал его. И хоть давно было, а узнал тотчас. Штурман, говорит, это с корабля «Святой Франциск». И звать его Рохелио Варгас. Воевали они вместе во Фландрии.

Рассказ бывшего матроса Эухенио Эррера

...А какое судно-то было, сеньор! Плакать хочется, как вспомню. Линейный корабль «Святой Франциск». Шестьдесят пушек, корпус красного дерева, не то что нынешние – дуб да сосна! Королевские верфи в Гаване!

И уж поверьте, точно он. Рохелио Варгас! Врать мне вам резона нету, а память у меня крепкая. Только он тогда не седой был, а рыжий, как медный пятак. Родом из Сарагосы. Из какой-то знатной семьи. Я как-то был в его каюте, видел портрет его прадеда в доспехах крестоносца. Умница, каких мало. И весь такой тихий, обходительный, голоса не повысит, к нам, к матросне, всегда на «Вы». Но и храбрец, каких поискать. Во время осады Лейдена, оплота кальвинистов, гёзы⁹ как-то ночью, выскочили из тумана, как черти из пекла, и взяли нас на abordаж. С двух сторон. С двух сторон, сеньор! Одни с кормы, другие с носа. Бог весть что с нами было б, если бы не он. Нас ведь уже сонных резать начали.

Он рубился в первом ряду. Его по лицу abordажным тесаком наотмашь полоснули, кровь ручьём, а он бьётся, ещё и команды отдаёт. В общем, одолели мы их – кого на палубе посекали, тех, кто бежать пытался, из пушек потопили. Девятерых взяли в плен. С пленными мы не цацкались, что говорить. Как и они с нашими. До того доходило, что им рубили ноги по колени,

⁹ Geuzen (нидерл.) – повстанцы, во время войны за независимость Нидерландов боровшиеся против испанского владычества.

подвешивали на реях за подмышки на их же судёнышках, а судёнышки поджигали. Это называлось «Гёзам – пламенный привет». Хотели и с теми девятерыми так же. Да он не дал, сеньор Варгас. Шпагу вытащил – кто, мол, тронет, тому кишки вон! В общем, бросили их в море, да и дело с концом.

А настоящая беда случилась, когда мы уже возвращались домой. По открытой Атлантике шли, считай, при пол-ном штиле. Вообразите, семеро суток – и ни ветерка. Ползли, как улитки. Сеньор Варгас тогда ещё говорил: «Не к добру это». Так оно и вышло! Только прошли Гибралтарскую скалу, как грянул такой штормище, каких сроду не видел. Говорят, в Средиземном море случаются такие, правда, редко. Вообразите: штиль, зной, и вдруг – разом дикий шквал. А потом и вовсе чёртово месиво. В общем, паруса мы убрать не успели, понесло нас в прорву адову, мачты поломало одну за другой, и все на правый борт! Судно получило такой крен, что стало черпать воду, две пушки сорвались с портов. Больше половины шлюпок перекрошили те окаянные пушки.

В общем, оказались мы в шлюпке втроем: я, сеньор Варгас и Карлос, помощник рулевого. А шлюпка-то – дерьмо, дыра в два пальца. Мы со штурманом на вёслах, Карлос воду вычерпывал. И вот тут за борт уцепился ещё один. Аристидес, полунегр, полуиндеец. Коком у нас был. Здоровенный такой детина. Поначалу-то господин штурман сам пытался ему помочь. Да едва он начал карабкаться, Аристидес этот, как волна ударила и чуть шлюпку нашу не перевернула. И вот тут что-то на нашего штурмана нашло. Побелел весь, будто кровь у него выпили. Он и столкнул этого самого Аристидеса в воду. Говорит: «Поди прочь!» Тот вынырнул, снова за борта ухватился. «Христом Богом молю, сеньор, не бросайте меня! Христом Богом! Шестеро деток у меня в Кадисе! Христом Богом, сеньор!». А господин штурман снова его толкнул, да со всей силой, пятернёй в лицо. «Прочь поди, я сказал! К своему Христу-Богу...»

Карлос тогда не выдержал и говорит: «Сеньор штурман, что ж вы делаете?! Не по-божески это!» А тот вытащил кортик и кричит: «А, не по-божески?! Ну давайте, подходите, я покажу, как оно будет по-божески!» Весь белый, а глаза – как у дьявола, прости меня, Господи!

Дальше – добрались мы почти до самого берега. Уже огни были видны деревни какой-то. Да тут опять ударил шквал, шлюпку нашу подняло прямо-таки на дыбы да и швырнуло о скалу всем днищем. Шлюпка разлетелась в щепы. Меня к берегу понесло. Я думал – вот тебе и конец, помру без исповеди! И вдруг чувствую – дно под ногами! А про тех двоих, Карлоса и штурмана, я уж решил – утопили или о скалу разбились. А здесь гляжу – ну точно, он. Правда, он-то меня не признал. Или не захотел узнать, кто ж разберёт...»

* * *

– Такая история, деточка. Может, врёт, может, путает. Может, правду говорит. Я-то, как впервые его увидел, Каносо нашего, понял – горя он хлебнул немало. И грех тоже, похоже, на нём немалый. Да и что говорить – война сама большой грех. Большого греха, чем войну затеять, нет на свете, я так думаю. Я так думаю, что Господь из милости лишил его памяти о свершённом грехе, да и заменил памятью о другом. Чужие-то грехи легче искупать, чем свои. А время – мукомол, всё смелет, что ни дай. Мука с другой мукой перемешается – не отличить. И уж коли Господь сподобил, чтоб ты его сыскала, стало быть, простил его. Я так думаю. Ничего, деточка, не плачь, всё образуется, глядишь...

Бездна

Но в мире есть иные области, луной мучительной томимы...
Н. Гумилёв

Капитан голландского фрегата «Урания» Бернхард Скрантон погиб на пути из Амбоина в Малакку, причём странным образом. Никто не видел, как вошла в него та чёртова пуля, в заварухе у входа в Малаккский пролив. А ежели кто и видел, то теперь всё равно не узнать.

Воды в тех местах беспокойные. Острова – как лихорадочная сыпь на теле океана. Не поспешил Господь, в избытке одарил их экваториальным солнцем и влагой. Даже дожди здесь такие, будто вода ещё там, в разбухших облаках, начинает подгнивать и цвести.

И людям тут тесно, как воде и островам, и злоба тут ленивая, больная, и потому особенно свирепая. Трёхцветный флаг Соединённых Провинций и звёздное полотнище Ост-Индской компании вгрызлись-таки с наугой и кровью в побережье, но вглубь островов, в их гнилое, малярное чрево европеец ходить не отваживается.

Да и на море всякий выросший над волною парус мог оказаться врагом. Тихоходный с виду португальский купец или плоскодонная малайская прао могли, сблизившись, хищно оцетиниться стволами и баграми.

* * *

Лихорадка уложила капитана Скрантона ещё на подходе к Борнео. Вообще-то лихорадка в этих местах дело столь обычное, что её порой и в расчёт не брали. Да к тому же капитан Скрантон был крепок, как брабантский битюг, его не возьмёшь обычной лихорадкой. Но тут был случай небывалый – лицо у него не то пожелтело, не то посерело, белки глаз стали бледно-розовыми, точно их выварили в кипятке, и трясло его, будто душа сей момент вылетит вон. Когда миновали Понтианак, лихорадка чуть спала, и капитан, не спавший две ночи, провалился в забытье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.